

Николай В. Кононов

Новая история

Восстание

Документальный
роман



Книжные проекты
Дмитрия Зимина



INLIBERTY

Новая история

Николай Кононов

Восстание. Документальный роман

«Новое издательство»

2019

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6

Кононов Н. В.

Восстание. Документальный роман / Н. В. Кононов — «Новое издательство», 2019 — (Новая история)

ISBN 978-5-98379-233-3

Война, плен, власовское движение, концлагерь, Холокост, послевоенная Бельгия, репатриация, ГУЛАГ, легендарное Норильское восстание – все это вошло в жизнь одного конкретного человека, в которой общий опыт русской и европейской истории столкнулся с органической непереносимостью принуждения и несвободы. Документальный роман Николая В. Коконова «Восстание» выводит на сцену нового героя советской эпохи и исследует, как устроено само человеческое стремление к свободе – в подневольной стране, в XX веке.

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6

ISBN 978-5-98379-233-3

© Кононов Н. В., 2019
© Новое издательство, 2019

Содержание

Восстание	6
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Николай В. Кононов

Восстание. Документальный роман

Я попал в трудную ситуацию. Сергей Соловьев (1916–2009), идеолог подпольной Демократической партии России, один из лидеров Норильского восстания и вожак бунта на колымских шахтах, был умелым конспиратором. Свидетели указывали на него не столько как на предводителя боевого – после войны в особых лагерях сидело много офицеров, – сколько как на стратега. Все описывали его тихим, малозаметным человеком, шахматистом, чертежником с торчащей из кармана рейсшиной. После смерти от него остались сонник, стопка писем друзьям и сестре, план родительского дома с садом, блокнот со схемами изобретений и выписками из лекции математика Шафаревича на вручении Хайнемановской премии, статьи Толстого о Карпентере и пособия «Ремонт часов». Но нигде Соловьев не проговаривался о событиях, которые породил и в которых принял участие, и только в некоторых записях снов зашифровывал прожитое. Единственный раз он исповедовался историку, и даже в том разговоре почти не коснулся деталей содеянного. Ему было кого и чего опасаться, и он остался неуловим. Однако в последних письмах Соловьев повторял, что жалеет, что его эпопея останется неизвестной.

Заинтересовавшись сонником и отправившись искать другие свидетельства, я понял, что его дар уклонения от вражеского ока воздвигает передо мной незримую стену. Архивные документы давали немного ответов, последние свидетели умерли или ничего не могли добавить к известному. Но со временем мне удалось восстановить случившееся в деталях. Повторив маршруты героя и побывав на местах действия, я счел, что вправе шагнуть за эту стену и, оттолкнувшись строго от фактов, написать свою историю одного восстания. Это не биография. Это роман по ее мотивам – немногочисленные документы набраны в книге отдельным шрифтом. Чтобы не позволить дару конспирации оставить в тени своего носителя, мне пришлось стать Соловьевым.

Автор сердечно благодарит Галину Касабову, Владимира Ронина, Павла Поляна, Ирину Островскую, Кирилла Александрова, Ивана Паникарова, Олега Ромейко, Владимира Ройтера, Ольгу Лесли, Марину Шандарову, Эмилию Кустову, Андрея Портнова, Анну Нетто, Николая Миловидова, Николая Формозова, Веру Аммер, Елену Барышеву, Наталью Руф, Анастасию Крылову, Людмилу Гольдберг, Александру Поливанову, Ларису Коробенину, Павла Аптекаря, Никиту Ломакина, Александру Нейман, Алексея Бабия, Виктора Земскова, Татьяну Герасимову, Наталью Лебину, Артема Латышева, Николая Эппле, Элизабет А. Вуд, Оксану Дворниченко, Энн Эпплбаум, Игоря Ермолова, Евгения Кодина, Алену Козлову, Вячеслава Ященко, Николая Михайлова, Инну Гэншоу, Виктора Данилова, Теодора Шанина, Ларису Краюшников, Ивана Ковтуна, Дана Михмана, Филиппа Нонклерка, Михаила Дзюбенко, Шейлу Фицпатрик, Сергея Дробязко, Александра Литина, Марину Мосейкину, Бориса Беленкина, Галину Дурстхоф, Дмитрия Жукова, Андрея Жемкова, Галину и Михаила Ежовых, Дарью Хлевнюк, Ирину Щербакову, Николауса Вахсмана, Джейн Маркс, Ольгу Эдельман, Наталью Федянину, Сюзанну Вромен, Никиту Петрова, Виктора Кондрашина, Константина Залесского, Татьяну Раеву, Татьяну Котову, Бориса Соколова, Сашу Мансилью-Круз, Александра Миронова, Шарлотту Декостер и других, чьи консультации, интервью, книги, статьи и исследования помогли мне в работе над этой историей. Отдельная благодарность Алле Макаровой, которая собрала свидетельства о Норильском восстании и сделала их общедоступными, а также Международному обществу «Мемориал» и его сотрудникам за возможность работать с личным архивом Сергея Соловьева.

Восстание

Я умер в предпоследний день зимы, держа Анну за руку и глядя в окно. На холмах шуршали сухие травы, бешено, заполняя комнату шумом, будто стоял август, налетел ветер, и замесались полынь и тимьян. Пустое небо сменилось снежным, пришли облака, кучевые, дождевые, волокнистые с наковальней, за ними просвечивающие, лысые, слоистые – я вспомнил, как меня учили называть их.

Отрываясь от земли, не привязанный к ней ничем, я не оставлял ценных вещей, наследства, дома, ничего, кроме полок с книгами, конспектов и сонника. Я не был зарегистрирован, учтен и не имел документов. Когда я вышел из конторы с паспортом и сел в припадающий на два левых колеса «лиаз», я знал, что наделен этой книжкой с фотографией ненадолго, меня не любят бумаги – отлипают и улетают. Так и в тот раз, в автобус зашли разные люди, были с фабрики, один с портфелем, и еще какие-то с мешками, и они толпились, и я знал, что один из них залезет в карман моего пиджака и вытащит паспорт, которому не удастся приковать меня к этой земле. Но кроме того я знал и другое: меня не оставили в покое. Где-то еще хранилась папка, набитая желтой бумагой с бегущей по ней машинописью: «Особо опасен, склонен к побегу».

В последние годы мы осели у Горького озера, а затем перевезли сруб на окраину городка, где за изгородью колыхалась степь – до самых безлесых холмов. Далеко за холмами начинались гольцы, торчащие из земли: великаны с зализанными лбами и пальцами, грозящими небесам. Иногда я чувствовал, что смогу дойти до гольцов, и отправлялся туда. Земля Алтая похожа на воду в котелке, когда та только что закипела и вздувается пузырями. Поля расходятся искривленными склонами, и желтеют скалы, предсказывая скорое появление гор с ледниками. На рассвете озеро дымилось, будто на середине его был остров и там жгли костер. Я пробирался к берегу по полю сквозь туман, и мне казалось, что сейчас навстречу выйдут родители, Ольга, Толя, Маргариточка и другие.

Возвращаясь, я встречал женщин, у которых жил, мать и дочь, они стояли по колено в полыни и пели. Я не верил в их бога и, когда они молились в степи, вставал рядом, уважая, но молчал. Мы переписывались годами, прежде чем они позвали меня приехать. Я знал, что их церковь, старая, всегда была гонима и стремилась дальше и дальше от городов, и я с этим соглашался. С кем бы еще я смог жить, если не с тем, кто понимал, что нет ничего, а есть только ветер.

Сорванные травы я нес в аптеку, не дожидаясь приемщика, бросал мешок у двери и уходил, а деньги забирали женщины. Тем мы и жили. Я чувствовал, что уже скоро мне закроют глаза листом с молитвой и положат под крест с двускатной крышей. Тот, кто верит в любого бога, хотя бы и красного, и даже языческого, – тот легче переносит долгие сроки страданий, ожидает награды, воздаяния или хотя бы спокойного конца пути. Но сам я так не мог.

Все двадцать пять лет я записывал сны, и начал это делать из-за слежки на строгом режиме. Пишешь себе, пишешь, а если интересуются, не запрещенное ли, показываешь: вот, сонник. Дневники у таких, как я, отбирали, читали, приписывали какие-нибудь новые мотивы и судили заново. Меня же просто считали сумасшедшим, который сидит на койке с закрытыми глазами и силится вспомнить, что видел ночью. Соседи либо считали так же, либо понимая кивали головой. Вторых я учил конспирации, поэтому вопросов, зачем сшивать двадцать шестнадцатистраничных тетрадей в один том, у них не возникало.

Довольно скоро я научился воспроизводить сны со всеми их подробностями, даже спустя часы после пробуждения, и зарисовывал некоторые из них, хотя это было не обязательно – к тому времени я уже не просто не верил снам, а даже не размышлял о них. Гораздо важнее было спрятать внутри них то, что я помнил по-настоящему. Сделать это было необходимо, потому

что механический труд – изобретать и конструировать, то, что я желал больше всего, мне не разрешили – отуплял, и как я ни сопротивлялся, все же утратил вкус к выдумыванию разных механизмов и вдобавок *j'ai oublié le français*. Когда твои чувства отсекаются, как члены тела топором, – худшая из пыток. Из моих прежних ощущений осталось лишь видение себя точкой, перемещающейся в карте, и я по-прежнему безошибочно определял, где нахожусь, и ни разу не заблудился в предгорьях, как бы далеко ни ходил.

Я не хотел встречаться с соседями по неволе, только переписывался и до конца опасался, что сероликие не оставят меня в покое. Когда приезжали гости, называвшиеся историками, я прятался, уходил к холмам и ложился лицом в траву. Однажды не успел и занавесился платьем – гостя решила, что клочкобородый дед в вязаном свитере с нелепыми узорами просто сошел с ума – а я заслонился от зарева, которое становилось невыносимым, когда приближались они. Сначала я думал, что мне мстят за отца, затем – за предательство, за восстание и свитки, найденные в шахте, но в конце концов понял, что меня не преследуют, а ведут.

На небе проступило водяным знаком облако-коготь. Травы шумели невозможно громко. Анна приблизилась, ее глаза сияли, и я подумал: почему многие так уверены, что поступали бы на моем месте иначе, и разве я был нечестен, или хотел несбыточного, или в самом деле предал? Потеплело, из степи задул ветер, и в ставнях звякнули стекла. На столе дрогнул листок, единственный документ, который я все же носил с собой. Там было написано: «Невиновен». Я повернулся к Анне и спросил: «Правда?»

Взяв стаканы, я налил воды на два пальца и развел зеленую и голубую, и, пока они отставались, намочил ватку и прошелся по листу. Бумага была плотная, однородная и подсыхала равномерно. Я включил светостол и стал рассматривать план. Линии бежали ровно, нажим карандаша был один и тот же во всех штриховках, и лишь по левому краю листа становилось заметно, что записатор торопится. Не только из-за того, что ему пришлось работать резинкой, оставляя шероховатости, но и потому, что у самого края в кляксе крови распластался, оттопырив ноги и вздернув крыло, комар, превратившийся в мумию. Такие планы отмечали как испорченные, и записатора могли выгнать – горячиться и бить насекомых на столе нельзя. Но это был лишь один из листов полевой записи, к тому же Лапшин знал меня и понял, что я оставил мумию за ее красоту.

План под лампой казался настолько четким и лаконичным, что вызывал какую-то мышечную радость. Я схватил кривоножку, заправил ее коричневой тушью и начал перечерчивать рельеф. Кривоножка давала ровную линию и ехала плавно. Удача заключалась в том, что она была вовремя поточена, а если бы нет, то в столь тонкой рисовке одна ее створка резала бы бумагу, а другая давала рваную линию. Предстояла ночь работы, поэтому я не стал выписывать зубцы оврагов совсем уж ажурно и поторопился перейти к домам и дорогам.

Когда рельеф был готов, я положил кривоножку в футляр и взял рейсфедер. Выставил нужную толщину и начертил, а потом заштриховал брасовские постройки, после чего быстро разделался со Сныткиным и Кропотовым. Час мучился с тропами к Александровскому и самим лесом, где вместо отмеченных на старой километровке елей толпились березы с дубами. Вспомнилось, как мне пришлось часами блуждать в намокших сапогах с блокнотом, записывая высоту и толщину стволов для каждой породы. Впрочем, с расчетами этого лесного гоголя-моголя меня примиряла рисовка цифр – я обожал курс каллиграфии, выучил все допустимые гарнитуры и с удовольствием тянул линии четных чисел вверх, а нечетных вниз; казалось, будто цифра отплясывает. Затем на плане возникли конезавод, церковь, амбар, гостевой дом, где теперь жили мы, приезжие студенты. Вытянутое здание императорского дворца я нарисовал последним – как и флигель, где сейчас сидел в чертежной. С постройками было кончено.

I

Взяв с поверхности воды немного зеленой, я стал наносить лес. У кромки поля, где началась пойма реки, в окно ударил снежный заряд. В форточку влетела горсть снега, и я, дернувшись, посадил темно-зеленое пятно. Пришлось смочить ватку и растереть его до бледности. Над рошей я некоторое время колебался, делать ее лесом или кустами. Великие князья закладывали между аллеями лужайку, а дубы были высажены позже, уже при техникуме, совсем недавно, и выросли не выше двух с половиной метров. Считалось, что, если к дереву подъехал казак на лошади, держа в руке пику, и верхний листок оказался выше пики, значит, на карте следует изобразить лес. Намеренные мной два с половиной метра – явно ниже, чем пика, это скорее голова казака. Черт его знает, правда, на каком коне он сидит. Посомневавшись, я сделал лес. С парком же мучились все, кто учился в техникуме на топографа. Когда-то Брасовом владели дворяне Апраксины, а потом продали имение царской семье, и новый архитектор разбил парк так, что тот получил очертания двуглавого орла. После революции соблюдать его идеи стало некому. Во дворец въехал гидромелиоративный техникум, и пустоши под крыльями и клювом орла стали зарастать. Их то стригли, то бросали, начался хаос, и год от года студенты сдавали планы с разными орлами.

Я подцепил на кисть голубую, повертел под лампой и прислушался. Казалось, в коридоре кто-то ходил. Не то чтобы рассекречивание было смертельным – мне поверили бы, что я засиделся до ночи над курсовой, которую начал готовить еще с декабря, – но мне хотелось как можно дольше попользоваться якобы потерянным ключом к чертежной. Звук не повторился, и я приступил к Неруссе. Почему-то, когда я чертил землю и дома, мог чувствовать и свободу, и легкость, но никогда – то особенное счастье, которое ощущаешь, когда карта начинает двигаться, превращаясь из плана на ватмане в живое. Стоило же нанести реку, извивающуюся червяком, купальни и пруд, болота с черточками – и даже тогда, даже той ночью я забыл о письме, которое жгло мой внутренний карман, и полетел над брянскими заунывными полями.

Карта была готова, когда дверь приоткрылась. Как в оперетке, в чертежную просочился тот, кого я не ждал, – Воскобойник. Он вел у нас физику, а также читал политинформацию. Раз в неделю мы слышали от него, что Германия и Япония точат зубы, надо сдать нормативы на значок «Будь готов!» и перезаряжать винтовку за три секунды. Речь Воскобойника всегда бурлила, изобиловала размахиванием руками до треска пиджака под мышкой и риторическими вопросами с приподнятой бровью. Но я всегда удивлялся, как он умеет переключаться из громового регистра в молчание – особенно когда ходил к нему в кружок изобретателей. Мы могли сидеть и часами мастерить какой-нибудь станочек, и все это время Воскобойник тихо паял или склонялся над тисками, не выпуская из зубов мундштука с обрезанной наполовину папиросой. Он увлекался, и мы видели, как его черная борода и тонкие брови хмурились, злились и жили недоступной нам жизнью. Я понял, что эта жизнь не связана с винтовками и клятвами перевыполнить план. На столе он держал фотопортрет семьи, с которой жил здесь же, в соседней Локти.

Я даже не вздрогнул, когда Воскобойник пересек комнату и склонился над светостолом. «Что делаете?» – спросил он, доставая из кармана мундштук. «Километровку, – ответил я. – Километровку для экзамена». Он сунул мундштук обратно в карман и перестал делать вид, что карта его интересует. «Я думал насчет вашей идеи с полетами, – начал он. – Вряд ли мы в ближайшее время заманим сюда каких-нибудь воздухоплателей, но, как мы говорили, можно попробовать изготовить шар самим и найти горелку. Это не так трудно. А что действительно важно – и что касается вашего чертежа, где вы рассчитывали искажения при аэросъемке, да? – я только что прочитал в статье, что в Ленинграде изготовили объектив, настолько широкий, что

не дает искажений. Завтра я принесу вам журнал. Можем устроить дело так, чтобы техникум выписал этот объектив».

Стало ясно, почему Воскобойник волнуется. Два года я бился над идеей снимать землю с воздуха, но так и не придумал, как избавиться от искажений, которые давали обычные объективы, и он сам заразился этим моим увлечением. Взлететь с фотоаппаратом, уместившись на двух дощечках и привязав себя к канату, нетрудно. Можно даже соорудить корзину, хотя лучше без нее – мороки много. Но обычные объективы передавали искаженную картинку, поэтому требовался особый объектив или насадка. В журналах мы видели целые стада дирижаблей, да уже и аппарат, похожий на батискаф, полетел в стратосферу, – а топографы все скакали по земле, словно кузнечики с треногами. Вместо наших блужданий с мензулой и рейками по колено в воде в противомоскитных сетках можно было запускать шар, привязывать его к колышкам, сажать на сиденье наблюдателя, и тот бы сверху снимал за час все, над чем мы мучаемся день. Поля моих тетрадей заполнялись людьми на аэростатах, которые кружили друг вокруг друга, и вскоре я сдал Воскобойнику чертеж насадки с линзами. Он посмотрел, исправил кое-что, но показывать одноногую директорию Космылину не стал – столь дорогие линзы техникум не мог себе позволить. Теперь же в Ленинграде изобрели именно такой объектив.

«Очень интересно, – сказал я. – Я очень вам благодарен и с удовольствием посмотрю. Но объектив вряд ли привезут до лета, а ведь я после экзаменов уезжаю. Да и те хотел сдать раньше». «Действительно интересно, – отозвался Воскобойник. – Я думал, вы останетесь. Понятно, что для Космылина аэросъемка – это какие-то причуды, но я бы получил для вас ставку лаборанта, а потом доказал, что этот метод съемки надо хотя бы знать – и, чем черт не шутит, вы бы преподавали, летали на шаре. Педучилище окончили бы заочно или вовсе экстерном».

Это было искушение. Я любил Брасово и хотел остаться. Для меня усадьба была островом странной, не представимой на моей родине жизни. После переворота великий князь бежал, и брасовцы охраняли имение от грабителей, пока не явились красные с мандатом, печатью и подводами и не увезли картины с утварью в Москву. Говорили, что позже они потеряли описи награбленного, скорее всего специально, чтобы продать золото в другие страны, но стараниями бывших служителей недорого выглядящие книги остались в библиотеке. Сторожевая башенка дворца, похожего на буддийский храм, высилась над соснами, и с ее балкона мы смотрели на закате, как дымится Нерусса и медные поля ее поймы. Я залезал еще выше, на грохочущую железную крышу, и читал «Рождение трагедии из духа музыки», Гомера и Моммзена с видом на аллеи, клумбы и заводы, где брат императора разводил форель.

Мы жили почти как монахи. Почти, потому что с нами в группе училась Зина Кокорева – единственная, кого допустили к гидравлике и дифференциальным уравнениям. Она жила с другими девочками в бывшем гостевом доме князей. Нам ничего не рассказывали *sur le sexe*, и девочкам тоже, и молчание говорило о недопустимости самого разговора об этом. Поэтому между нами стояла какая-то стыдливая стена. Все думали о близости, мучились от своей девственности, но шептались разве что о поцелуях кого-то с кем-то и, закусив подушку, *ils masturbaient*, подгадав момент, когда из тесной комнаты уходили соседи. С другой стороны, я вполне мог быть не до конца осведомленным в половой жизни однокурсников или просто не видел ее, поскольку с трудом отрывался от топольки, картографии и шахмат. Особую стипендию мне назначили после того, как я заменял учителя по черчению первокурсникам и потом еще несколькими потоками, и по съемке тоже.

«Послушайте, – оборвал паузу Воскобойник. – Я бы на вашем месте еще немного подумал. Вас тут ценят. Болванов в техникуме мало, и они ничего не решают. Вы будете вдали от суеты, а это очень важно сейчас». Услышав я это неделей раньше, начал бы прикидывать шансы, но теперь уже знал, что делаю, и сказал, что, если по-честному, не ожидал, что кто-то поддержит мою идею, и мне надо подумать, и конечно, я мечтал о полевой работе, но теперь...

«Что случилось с вашим отцом?» – спросил Воскобойник, не меняя тона, и все рассыпалось. Комната закрутилась перед глазами и не останавливалась, линейка заблестала гильотиным ножом. Меня шатало. Воскобойник же вертел в руках мундштук, ждал ответа и наслаждался тем, что застиг меня врасплох. «Почему вы решили, что с моим отцом что-то случилось?» – «Я видел, что вы читали письмо из дома, и лицо ваше сделалось серым, как глина». – «Откуда вы знаете, что оно из дома?» – «Вы других не получаете, и вообще-то на вас это похоже». – «Что? Что не получаю?» – «Да». – «Но почему вы сразу про отца?» – «Ну, забирают же мужчин, а вы сами рассказывали, что вы старший сын».

«Что значит „забирают“?! – крикнул я, забыв, что на дворе ночь, а над чертежной на верхнем этаже флигеля спал второй курс мелиораторов. – Вдруг у нас кто-то умер или в больнице? Что вы вообще говорите!» Воскобойник улыбнулся, прикурил, взял мундштук в рот и стал разглядывать мой план. «Понимаете, – сказал он, – я видел достаточно людей, получавших известия о смерти. У меня работа была такая – сообщать. Одни вскакивают, другие переспрашивают: „Что, что?“ третьи падают лицом в руки, но никто не боится пошевелиться так, чтобы окружающие не заметили. А вы окаменели, я видел. Так каменеют, когда узнают, что кого-то взяли. Дайте мне письмо». – «С чего вы взяли, что оно у меня с собой?» – «Такие письма не оставляют, разве что в сейфе, но сейфов здесь нет». – «Зачем оно вам?» Воскобойник выдохнул дым. «Хочу посмотреть дату отправки». – «Я вам и так скажу, но зачем вы хотите?» – «Охота началась в августе и должна была завершиться за полгода. Если вашего отца взяли позже, так сказать, конца сезона, значит, охотникам увеличили квоту на отстрел. Продлили сезон». – «Я не понимаю, о чем вы. Мать написала, что он не вернулся, и все. Мало ли что случилось. Вдруг он опять уехал...» Я спохватился и быстро назвал дату: третье декабря. Воскобойник считал в уме, промакивая что-то ваткой на моем плане – мне было уже все равно, что он может быть испорчен, – и наконец досчитал: «Его взяли прямо перед тем, как послать в центр окончательную сводку. Значит, держали на карандаше до последнего. Край у них был пятого числа. А может, наоборот, они срывали план, и в последний момент искали, кого еще взять, и нашли его. Не могу вам сказать, откуда я это знаю, но это не так важно, они же не скрываются, они гордятся тем, что обезвреживают врагов, жалуются, что служба трудна. Вы сказали: „Опять уехал“, – значит, он уже прятался. Вашу семью по первой или по второй категории высылали?»

В этот момент я догадался, о каком плане он говорил. До того из письма матери я как идиот вычитывал, что надежда все-таки есть и отец мог уехать сам. Там было написано: ушел в совхоз и не вернулся, в городе его не видели, уполномоченный молчит, зайти в Смоленске в управление и наведи справки. Теперь я понимал, какое управление она могла иметь в виду, только его и никакое другое, но побоялась об этом написать впрямую. Из меня вырвалось: «Сволочи». Вероятно, вид мой был пронзительный, а взгляд как у василиска, потому что Воскобойник мигом затушил папиросу: «Погодите. Я объясню вам, почему спрашиваю. Когда-то я учился на юридическом, еще тогда, – он показал большим пальцем за спину, – и мне показалось, что не могу же я не пойти на войну, когда родина гибнет и сводки всё хуже. За царя, за родину, за веру! Примерно так». Он нахмурил брови и сделал тревожное, одухотворенное лицо. «Я не успел толком повоевать, а когда вернулся офицером, власть уже сменилась. Мы поехали с однополчанами в Саратов, там требовались военные руководители. Я решил держаться власти, закона. Все-таки быть на стороне тех, кто закон писал и исполняет, – чуть больше гарантий, что не тронут. Меня распределили в Хвалынский. Захолустный городишко, несколько каменных домов, в остальном избы, громадный приход у церкви. Первый год после революции очухивались, проедали запасы. Жизнь текла более-менее тихо, и я женился. Коммунистов было мало. Председатель не разбирался в тонкостях веры, стал проводить противопереховные лекции и однажды на окраине в часовне нашел куклу, деревянную такую, в юбке и фартуке, мордовского бога дождя, и велел забрать. Понесли мы ее в исполком, а товарищи верующие схватились за голову и побежали к попу: оказывается, эту куклу там перед севом спе-

циально сажали, чтобы урожай удался. Поп-то их обряды поддерживал и зазвонил в колокол. Прихожане бросились на наших матросиков, те начали стрелять, двоих убили, двоих ранили. Приехала комиссия, предисполкома сняли. Идола сволокли в церковь...»

Воскобойник остановился и посмотрел на меня водянистым взглядом. Стало не по себе. Он отвернулся и пробормотал, что не знает, почему все это рассказывает. Хотя я был совершенно раздавлен услышанным, мне стало неловко от его кокетства, и я махнул рукой: «Вы взяли меня в заложники, так что я слушаю». Воскобойник тонко улыбнулся. «Вам дальше станет понятно. Так вот, на второй год последние запасы иссякли, и больше никто не хотел отдавать зерно. Хозяева вламывались на собрания, перебивали, кричали, чтобы мы выходили из ячейки. Саратов прислал продотряды, и началось то же, что продолжается и сейчас, что захлестнуло и вашего отца. Помню, был такой комиссар Черемухин, сто тридцать кулаков расстрелял, реквизировал все найденное зерно, не выдавая расписок. Сгонял всех на лекции „Почему сейчас власть не может дать максимум“, а когда на него написали донос, из Саратова пришел ответ, что Черемухин „не бандит, а наш почтенный партийный товарищ“ и действует по законам военного времени. Так вот знайте: это время тянется».

Сверху встал кто-то из мелиораторов и, топая, направился в нужник. Воскобойник подкрался к форточке и смахнул с рамы снег. Когда мелиоратор вернулся и затих, он вновь заговорил. На следующий год в Хвалынске был плохой урожай, осенью изымали последнее зерно, а зимой полыхнуло. Горожане писали письма вроде «ходатайствуем и всемиростиво просим уездного райпродкома взойти в наше критическое положение, и не дать нам и нашим детям страдать прежде времени голодом, и дать нам хлеба в определенной норме на семь месяцев», но из Саратова велели терпеть. Первым взбунтовался караульный батальон, которым командовал эсер Вакулин. Бунты покатались как лесной огонь. К повстанцам примыкали все, кто был разозлен красными. В Хвалынск ворвались какие-то непонятные силы, без формы, одни в каких-то тряпках, другие в шинелях с оборванными погонами.

Воскобойник распалился и, исповедуясь, переключился на интонацию политинформатора. Это было бы смешно, если бы я не видел безумие, скопившееся в белках его глаз. Темным хвалынским утром он метался по избе, пытаясь одеться. Как он утверждал, мысли схватить оружие у него не было, а только страх и желание бежать, чтобы не тронули жену. «Всего два выстрела я слышал за все утро – коммунистов взяли почти в постелях. Свели на площадь, и согнали туда горожан. Было сатанински холодно в животе. Я понял, что будут убивать, и молился, хотя, как вы видите, скептичен. Нас выводили по одному и спрашивали у людей: „Хорош?“ Вывели соседа моего, он читал лекции избачам, и одна баба вдруг говорит: „Корову забрал“. Наставник-то избачей! Его ударили штыком, он упал, а дальше били прикладами. Спустя несколько минут один взял винтовку, отодвинул других и выстрелил ему в голову. Труп оставили в снегу и собаки до вечера растаскивали его мозги. Следующего вывели и сказали: „Выпишись из коммунистов, давай к нам!“ Тот помотал головой, и ему выстрелили в правый глаз. Толпа ахнула. Застреленный свалился и, казалось, затих, но потом задергался в конвульсиях. Я, знаете, так скопил глаза на пуговицу шинели и, чтобы не упасть в обморок, забормотал: „Пуговица, пуговичка, держи меня на белом свете, пуговица, пуговичка, держи меня на белом свете“. Меня не тронули, и я поклялся всем богам, что никогда ни за что не буду держаться никакой веры и никаких убеждений».

Лампа заморгала. Где-то отключали электричество, а может, ветер раскачивал брасовские столбы. То вспыхивала чернота, то свет мигом очерчивал сгорбившегося на стуле Воскобойника. Когда иллюминация кончилась, он осторожно поднял взгляд и, не моргая, уставился на меня.

«Я не удивляюсь, – сказал Воскобойник, и ораторский его тон исчез. – Ничего нового в том, что творится сейчас, нет. Долгие годы люди убивали друг друга то голодом, то саблями, то пулей. И не могло быть иначе, коли начали с того, что натравили соседа на соседа. Куда

теперь из этого дерьма выплыть... В общем, Вакулин сам был офицер, не крестьянин, а вояка, как и все мы. Ему казалось, что стоит соединиться с тамбовскими крестьянами – а ведь к ним присоединялись тысячи мужиков, – и юг будет блокирован, а там и выход к морю, и поддержка нас капиталистическими державами, и конец мерзавцам, засевшим в столицах. Нет классовой диктатуре! Анафема принудительному коммунизму! Долой комиссародержавие! Да здравствует свободная торговля! Дашь личный кредит!.. И когда меня спросили, выпишусь ли из коммунистов, я выпалил, что хочу умереть за право распоряжаться своей землей и тра-та-та-та. Наговорил столько, что Бакулин зачислил меня в штаб и посадил писать прокламации. Но господи боже мой, мы не подозревали, насколько быстро наш поход кончится. С тамбовцами соединиться не удалось. Красные отправили к ним армию с конницей и бронелетучками. Все решилось в несколько недель. Два брата добрались с Тамбовщины к нам. У одного было красное лицо, будто заветренное или рожа. Оказалось, их гнали несколько дней. Конные, несколько тачанок, хромые пешие, не мывшиеся, завшивевшие, с плесневелыми корками в карманах, собрались в лесу подсчитать, кто остался, и договориться, куда уходит обоз и кто будет отвлекать. Решили два часа переспать и в полночь выступить, а проснулись от хлопков. Им показалось, что черные птицы влетали сквозь кроны деревьев и бились о землю, и из них полз белесый дым. Ужас, мрак, удушье, что это, почему этот дым режет горло. Многие ослепли и разбрелись в разные стороны, воя, а навстречу им пустили еще более концентрированный газ. Это красные привезли баллоны с хлором, обложили лес и крутанули вентили. Прибившимся к нам братьям повезло – то ли ветер сдул с опушки газ, то ли организмы их вынесли отравление, но они вышли, закрыв глаза, ушли на километр от леса и свалились в канаву. Их не нашли, потому что они были в обмороке и лежали как два мешка... А нам нечем было их обрадовать. Все с ума сходили от темноты и грязи, от степей, через которые тащишься и, увидев вдали дома, ощерившиеся огнями, думаешь: кто там тебя ждет, что случится, убьешь ли сам или выпрыгнет из стылых сеней тень с ножом. В селах же ненавидели всех – и нас, и красных, мы видели эти глаза в окнах. Я понял: нас будут топить в крови. Никто ни о чем договариваться не станет, назад дороги нет».

Воскобойник остановился, потер виски и подошел к рукомоюнику. Тонкую струю воды он целиком поймал в ладони, чтобы капли не гремели об ведро. Когда Бакулина убили, они выбрали командующим Попова, донского казака, бывшего комполка в конной армии. Красные со своими бронелетучками и закованными в латы дрезинами переместились на приволжские линии и теперь шныряли там. Попытавшись прорваться в Черкасское, повстанцы потеряли много людей и оружия и поняли, что надо уходить за Волгу в деревни, где коммунистов почти не было. Они уже сами резали направо и налево и не задумываясь грабили, потому что кончилась еда, а демон безнаказанности был выпущен давно и не ими.

«Стоял март. Берега Волги таяли, и трава косматилась такой бурой гривой. Лед был уже темен и напоминал разбитое зеркало. Мы искали место для перехода и встретили двоих красноармейцев – они тоже хотели перейти за реку и затеряться. Они даже не пытались сопротивляться. Бойцы вырвали у них винтовки, открыли затворы, чтобы проверить следы пороха, но затворы были чисты и горели как солнце... А за Волгой армия рассыпалась. Я двинулся в сторону Астрахани, чтобы встретиться там с женой – таков был наш план на случай бегства. Мы нашли и стали жить под другой фамилией. Я научился прятаться, переезжал из города в город. А что еще делать, если ты заперт как в темном амбаре со спертым воздухом, какими-то насекомыми, паноптикумом. Если не умеешь имитировать благонадежность, тебя рано или поздно раскроют. Ты загнан. Десять лет мы скрывались, а потом я понял, что меня начали прорабатывать, и сам явился с повинной. Нас выслали на три года под Новосибирск. Я ненавидел их, но деваться было некуда и по возвращении приходилось продумывать каждый ход, как в миттельшпиле, когда дебют уже сыгран и ничего не вернешь, а против тебя соперник с бульдожьим инстинктом. Мне повезло – здесь и правда тихая бухта. Правда, скоро начнется

война. Газеты не врут. Я жду ее с ужасом, потому что у нас здесь отдельный мир, в некоторой степени уютный, – но и с вожелением тоже, потому что мы должны быть отмщены и дети наши достойны другой жизни».

Он решил, что я устал от его речи, и принялся выковыривать что-то из мундштука. Действительно, все, что я слышал, мешало дышать. Вряд ли он приукрашивал. Разве что умолчал, наверное, что расстрелял тех красноармейцев на темном льду, но вообще это меняло немного. Я был придавлен не только тяжестью того, чего раньше не знал и о чем не хотел думать, – но и тем, что его рассказ накладывался трафаретной линейкой на все, что произошло с отцом.

Теперь я видел в событиях новый смысл и пытался объединить их в одну логическую картину. Лампа, освещенные ею атласы на стенах и светостол, который я так и не выключил, померкли. Комната отодвинулась в темноту и уехала вправо и вверх, как слайд диафильма.

«Я рассказываю вам все это к тому, – очнулся Воскобойник, – что надо быть готовым. Пока мыслящие люди не объединятся, пусть и со всей осторожностью, все тщетно. Вырастет новый человек, который ни помнить, ни знать ничего о том, что когда-то мы жили по-другому, не будет. Вот, смотрите: в нашем кружке собрались умные молодые люди, и я бы хотел, чтобы мы вместе подумали, не стоит ли понимать войну, которую все ждут, как освободительную? Раз мы изобретаем объективы, совершенствуем радиоприемники и всякую технику, не стоит ли нам изобрести для родины лучшее будущее?» Я понял, куда он клонит, но был убит своим открытием и свернул разговор, обещав подумать и встретиться здесь же послезавтра. Воскобойник любопытно и тревожно изучал меня несколько секунд, представляя невидимые ему мотивы, из-за которых я мог бы побежать и сдать его, а затем молвил: «Хорошо, подумайте», – и вышел.

Стараясь ужиться со всем, что на меня свалилось, я долго бродил по комнате, собирая и бессмысленно перекладывая предметы, вешал на стену недосохшую карту и вновь снимал. Затем на ощупь оделся в темных сенях и, стараясь не задевать чужие валенки с галошами, выбрался на цыпочках к крыльцу и поковылял в лес. Чернели кроны сосен. Над ними недвижно и ярко стояли звезды. Ночь была безветренной. Я шагал быстрыми шажками, как заводная канарейка, загребая снег, и твердил какое-то детское четверостишие – и не заметил бы, как далеко ушел в поля, если бы не вспомнил, что давно хочу помочиться. Остановка, неловкое расстегивание со сбрасыванием рукавиц, звук плавающего снега. Я ощутил мороз. Огней Брасова уже не было видно. Прошагав три километра и охладившись, я растерял лихорадку, которая гнала меня. Когда окончательно перестало трясти, я повернул назад и уже в комнате, скрючившись на кровати под холодным покрывалом, продолжал состыковывать узnanное с тем, что знал и раньше, но не хотел обдумывать.

Это было не так легко – вообще-то я знал отца плохо. Лишь в те несколько лет, когда он вернулся и жил с нами, мы были близки. Впрочем, я все равно помнил мало и обрывками. Они, Соловьевы, гнездовали в Руднице, смоленской деревне на два десятка домов, в черной избе. Фамилия взялась от предка, который пел в церкви фальцетом, но доверять этим рассказам, как и другим преданиям, причин не было. Жили сначала при помещиках Лыкошиных, затем сами, сея рожь и картофель, валя и сбывая лес помещицкому приказчику или попу, который тут же его перепродавал. Дед был всегда зол и недоволен и костерил всех, а жену бил, отчего дети не любили сидеть дома и предпочитали сами возить сваленный лес – всяко лучше, чем вместе с родителем связывать комли и волочить на лошади бревна, получая по уху. Непонятно, что случилось бы с моим отцом, если бы он не упросил свою мать купить у торговца житиями, развозившего их на санках, книжечки о великомученицах и Алексее Божии человеке. Прочитал по складам, впечатлился и стал искать еще. Через год из ближайшего городка Ярцево пришел офеня, только с романами. Отец предусмотрительно скопил немного медяков и отсыпал их офене за «Францыля Венциана» и «Английского милорда Георга». Вместо школы, где кроме букваря ничего не читали, он впервые в жизни добился от деда разрешения хоть на что-то, а

именно на побег в училище, которое помещики открыли для крестьянских детей в соседнем селе Казулине. При нем имелась небольшая библиотека с шершавыми лавками, одной лампой и томами «Илиады», аббата Прево и Карамзина. При входе смотритель проверял, чисты ли руки.

Этого собрания отцу оказалось достаточно, чтобы начитать на годы вперед. Он был болезненно робок. Его пытались сватать, чтобы получить еще одну работницу в дом, но раз за разом то родители намеченной девушки не могли договориться с дедом о приданом, то к сестре сватался парень, и семье просто не хватило бы денег на две свадьбы. Священник, к которому отец явился за помощью, взял задаток за сватовство и пропил, объяснив, что пропажа денег не обман, а наказание грешнику, редко посещавшему храм. Жаловаться было опасно, потому что священник подвизался еще и осведомителем. Сидя у мутного окна с видом на кусочек реки и ветлу, привалившись к которой спал сосед в картузе, но босой, отец решил бежать. Нацарапав поддельное письмо от троюродного дяди в Петербурге, где тот обещал принять наливальщиком в лавку, торговавшую ламповым маслом, он предъявил его деду и поклялся присылать три рубля ежемесячно. Дед не стал драться и выдал два золотых на дорогу.

Насчет того, где скитался и чем занимался в Петербурге, отец молчал. Единственное, что он рассказывал, – как чуть не утонул, коля лед на Неве. Они вырезали кабаны, прозрачные параллелепипеды, чтобы складывать из них ледники во дворах домов. Подгоняли дровни с удлинненными задними копыльями, клали на них глыбы и вытаскивали из воды. Однажды лошадь заскользила и ее потащило к майне, и мужики вцепились кто в поводья, кто в оглобли. Отец соскользнул в воду. Чтобы вылезти, схватился за копылья и тут же получил удар багром. Ушел под воду, хлебнул, вынырнул, цапнул, порезав пальцы, ледяную кромку и услышал рев бригадира: «Хотел дело утопить?» Получив расчет, он рискнул явиться к троюродному дяде. Тот спешил на службу и сказал, что родственнику сердечно рад и чаем бы угостил, да экономка ушла на рынок. В малой комнате что-то зашуршало. Отец сказал, что нуждается лишь в совете, и тут же получил его. Дядя вспомнил объявление, что недавно учрежденное министерство земледелия открыло школу сельских управляющих и набирало к себе учеников. Принимали всех, кто окончил хотя бы два класса земского училища, но преимущество имели обладатели рекомендательного письма.

Отец пробрался в Казулино, ночью миновав родную деревню, и упал в ноги помещику Лыкошину – как оказалось, вовремя. Немногим позже тот продал усадьбу и землю, а новый хозяин, хоть и переживал за просвещение, но училищем и устройством судеб не занимался. Лыкошин держал в уме своих многочисленных родственников и их имения и написал рекомендацию, решив, что она ни к чему не обязывает, а толковый человек куда-нибудь да сгодится. Отец, потратив последнее на билет, стоял у окна и смотрел, как на хибары наползают темные от копоти каменные дома, а за ними другие, еще мрачнее и выше. Так он въехал в Петербург в вагоне классом выше. Сверяясь с адресом на клочке бумаги, отец разыскал курсы и едва не провалился на беседе. Его спросили, возделывал ли он землю. Отец побелел, но вспомнил, как им в Руднице растолковывал шедший в соседнюю деревню мужик, что надо давать земле отдыхать и сеять на год клевер. Тогда он заинтересовался, обдумал все преимущества нового способа сева и упомянул о нем деду и соседям, но те его чуть не избили. Отец рассказал об этом. Экзаменатор чуть задержал на нем взгляд и начертил оценку в ведомости. Студента отвели на квартиру, где жили другие курсисты.

Отец вернулся домой с дипломом управляющего в год, когда кончился век, но поехал не в Казулино, а в Вышегор, имение дядьев Лыкошина, потомков обрусевших шотландцев Лесли и Апухтиных. Их конный завод поставлял тяжеловозов и орловских рысаков не только родне, но и армии и на продажу, а теперь прозябал. Отец любил лошадей и был благодарен Лыкошину, что тот послал его управлять заводом. За несколько лет он вернул в заказчики военных и понравился управляющему конюшней ткацкой фабрики в Ярцеве. Фабрикой владел сам миллионер Хлудов, в ее кирпичных корпусах с башенками гудели английские станки

и чего только не ткали из египетского хлопка – миткаль, ситец, малюскин и другие тончайшие ткани. Конечно, управляющему постоянно не хватало тяжеловозов для хозяйств и самого двора. Несколько раз в год отец гонял к нему лошадей. Апухтины ценили его и предлагали пристроить к двухэтажному каменному дому еще один, для семьи, но от деда к тому моменту сбежали дочери и тот предпочел остаться на месте, получая от сына деньги. Отец ездил уговаривать, но разговора толком не вышло. Бабка, узнав об отказе, несколько месяцев плакала у мутного окна с ветлой и вскоре умерла.

Лет через пять, говорил отец, деревня встрепенулась. В каждой избе ждали конца света, высчитывали, когда придет Антихрист и прольется огненный дождь, обсуждали колдунов, оборотней, искали знамений и молились, чтобы помазанник Божий за нас заступался. Многие притом распевали «Отречемся от старого мира». Во всем была виновата революция, а в капыревщинских волнениях – еще и фабрика, откуда исходили бунты, стачки и листовки, сначала стыдные, рассматриваемые вдаль от чужих глаз, потом всё более легальные. В дубовой роще за Вопью гомонили маевки: сбрось помещика с шеи и иди, бери землю. Апухтины все реже выезжали из Петербурга, и на их землях уже захватывали покосы. Вскоре, впрочем, все улеглось, и даже без крови, и мужики опять запели «Спаси, Господи, люди твоя», однако кое-что новое появилось в их ухватках. В заступничество царя они уже не верили, и в Божье благословение на его эполетах тоже. Отцу казалось, что это к лучшему: крестьяне перестали считать себя рабами и действовали хотя и нелепо, однако самостоятельно. Они уже вовсю продавали землю, кто-то переселялся, снимался с места, разбивал фруктовые сады. Появились и банды. Объезжая хозяйство, разбросанное по деревням, отец возил с собой ружье, якобы от волков.

Через несколько лет, когда уже шла война, отец явился в Ярцево, чтобы узнать, что изменилось в планах фабрики, и встретил в конторе мою мать. Та работала посуточно ватерщицей. Банкаброши разбирали чесаный лен на волокна, и его забирали на ватера, крутившие пряжу – мать снимала ее и несла в мотальную. Если пряжа уже была суха, ее везли упаковывать, а мокрую сушили на барабанах. Они с бабушкой жили здесь же, на окраине городка. Ей было двадцать четыре, и она поняла, что невысокий человек, чуть прихрамывающий, говорящий тихим, но очень внятным голосом и как бы выписывающий чувства руками (когда отец волновался, его кисти металась сами по себе, выдавая совсем не ту эмоцию или отношение, которые он хотел передать), – так вот она мгновенно уяснила, что этот человек нужен ей, чтобы родить меня, а потом Толю, Ольгу и Маргариточку, и совершила невообразимое: завела беседу с приезжим управляющим, выдумав какой-то предлог.

Их счастье длилось недолго. В год, когда я родился, кругом квартировали войсковые части, фабрика обшивала армию, война продолжалась, искали шпионов, а лето было жарким и Вось пересохла так, что не искупаешься. Следующей осенью отец докладывал Апухтиным, что все идет к тому, что поместья будут грабить. Кругом листовки и агитация, в Гжатском уезде задушили княгиню Голицыну и сожгли господский дом. Он предложил хозяевам распродать все имущество, кроме заводского, но Апухтины отказались и, хотя к тому моменту царь и князь уже отреклись от престола, не могли поверить, что старый мир рухнул, полагали, что династия вернется, пройдут выборы и все устроится. Вскоре отцу доставили известия, что у власти большевики и в губернию едет ревтрибунал. Ему пришлось бежать без документов. Селяне тут же явились грабить имение – рысаков им тронуть не дал комиссар, а остальное имущество растащили.

Уж не знаю почему, но мать не сказала мне, что отец уехал стеречь виноградники куда-то на Азовское море. Спустя два года он вернулся в Москву, потому что там легче всего было затеряться, найти работу и существовать без документов. Отсутствующий отец, который и был, и не был, являлся нам как привидение, маячил в доме не дольше недели и исчезал. Он, конечно, возникал, когда рождались сестры и брат, тихо помогал матери, опасаясь выходить на улицу, и вновь пропадал. Мать ругала его и однажды не переставая прорыдала несколько дней, когда

у Олечки случился ложный круп, та едва не задохнулась, и ее долго выхаживали. Остальные тоже болели, а ей приходилось управляться со всем одной. Мать злилась, что отец ее оставил одну, умом понимая, что, отсутствуя, он бережет семью от беды, а присылать больше денег не может, потому что работает задешево там, где не интересуются его прошлым, – и в конце концов отлепила отца от сердца и принимала его приезды как снег или дождь. Отец никогда не предупреждал.

Я запомнил его явление голодным летом, когда родилась Оля. До того как он появился на крыльце с мешком продуктов, мы пекли хлеб из жмыха, собирали желуди, чистили и перемалывали их. Все зерно, что было, забрали серые шинели, явившиеся однажды в дверях и ничего не объяснившие. Их главный, страшный, без глаза и со шрамом во все лицо, просипел что-то со словом «налог». Мать молча достала ключи от житни и вышла с ними. Она взяла на руки Олечку, но это нам не помогло. И никому в деревне не помогло. Виноградовы имели целый сад цветов, и, когда свадьбы проезжали мимо, молодые кланялись им, и они шли, рвали букеты и дарили жениху с невестой. Тем летом Виноградовы выдали дочь замуж и после венчания вернулись из церкви, сели за стол, накрытый в саду. Тут к ним, недоимщикам, и нагрянули. Утвари и икон не хватило – поэтому тот же безглазый, что забрал зерно у нас, схватил невесту за руку, сорвал фату и унес. Тогда в селе хоронили многих, особенно стариков, а тех, кто не мог умереть и мучился, везли в больницу. Оттуда не возвращались. Я запомнил, как выбежал за калитку, а там ковыляла телега и в ней покачивалась рябая костлявая рука.

Поэтому, слушая Воскобойника, я понимал, что все рассказываемое – правда. Во вранье не было нужды. Наоборот, сама жизнь выглядела как что-то неправдоподобное, нелепое, искривленное. В Вышегоре сразу поняли, кому досталась власть, но ничего не могли сделать. Продотрядовцы вынуждали продавать им лошадей за одну цену, в счетах у себя в конторе писали, будто купили за другую, более низкую, а разницу присваивали. Дольше всех верил в свою религию Тявса, фабричный, старый активист, но и он через два года впал в отчаяние. Тявса как-то раз заметил, что отец у нас, и зашел показать письмо в партию: «Вы большевиками были, пока были без власти в рваных брюках, а как только взяли власть, забыли, что пророчили. Вам эти строки пишет не какой-нибудь механический человек, а коммунист, который понимает, что есть и что нет, который отлично понимает, что марксизм не догмат, а руководство к действию, но так, как действуем в этом случае не преведи аллах делать еще так». Отец не стал даже исправлять ошибки и сказал, что такое письмо отправлять нельзя. Тявса прожег его взглядом, как кусок плесени, и выбежал. Его сочли правым уклонистом, выманили в Смоленск, и он сгинул.

Не помню, как эти годы переживала мать. Я выбрал нечувствительность – чего-то не понимал, а что-то не замечал. Во втором случае не я берег рассудок, а рассудок берег меня, выкидывая из памяти лишнее, чтобы я не сошел с ума. К тому же мать была молчалива и старалась не обсуждать, что происходит, и не показывать, как страдает. Лишь когда девочки подросли, они шептались вместе и иногда плакали. Мать подталкивала меня к тому, чтобы учить Толю работать, но, как я ни старался, он не овладел никаким инструментом, кроме молотка с пилой. Большую часть времени мы сидели и читали – развлечься было больше нечем. Из апухтинской библиотеки отец унес «Происхождение видов», Аристотеля с Платоном, историю войн и «Жизнь англичанина Робинзона Крузо». По детским книжкам я учил Толю, а сам перепрыгнул к томам, в которых, конечно, половину написанного не понимал. Мать чуть ожила, когда прибилась к активисткам женского движения. Активистки слушали лекции «Влияет ли цвет шерсти коровы на молоко» и «Когда не будет сельхозналога». С ними мать ходила на какую-то «коэтику», и только потом я сообразил, что «ко» значит «коммунистическая». После лекций они с активистками с особой свирепостью сплетничали.

Однажды утром в сених я обнаружил сапоги отца, у подошвы пыльные, а в голенищах блестящие столичной мазью. В темной прохладе дома он вертел в руках чашку и рассматривал

ее. «Все треснуло». Отец не уточнил, что случилось и кто виноват, но я почувствовал, что речь не о людях, не о том, что больше нет царя, не о продотрядах и их мелких жуликах, а о силах, которые кто-то выпустил из-под земли и которые устроены сложнее, чем мы думаем, и что они хотят лишить нас всего и в первую очередь друг друга. Я представлял эти силы как серых ангелов со вздыбленными волосами на иконах у бабушки Фроси. Бабушка откидывала занавеску и разрешала разглядывать иконы. На них сероликие обычно появлялись в сопровождении чудовищ: красного бородатого мужика с раздвоенной как раковина головой, сатаны, который обвесился флягами, выдолбленными из тыкв, верховного беса, пятнистого как леопард и семиглавого, и черного пса, украсившего башку как турок тюрбаном и влачившего колесницу с правителями в ад. Все они слились в темную лаву, волну, надвигающуюся с заревом из-за леса. Я просыпался ночью, брал за поводок свою плюшевую собаку, и мы шли к окну, чтобы встать там в караул. Вдруг уже катится волна багрового огня и несется к нам?

Тем летом я возненавидел сероликих за отца, которому пришлось опять покинуть нас, озираясь и хоронясь. Кто-то сказал, что едет проверка из губчека, и всем было известно, что чекисты не упустят шанс перевыполнить план борьбы с контрреволюцией, если можно поймать «бывшего». В августе я убежал с соседским мальчиком, на год младше, путешествовать. Мне хотелось найти отца в Москве и, с одной стороны, прижаться к нему, а с другой – бить, бить за все, что с нами происходило. Мы собрали пироги, тужурки, портянки, но все напрасно: на путях у ярцевского вокзала мы попытались спрятаться в угольном ящике под вагоном и были застигнуты.

Когда девочки и Толя подросли, я часто водил их в лес за малиной и подберезовиками. Сколь далеко бы мы ни забредали, я всегда знал, куда идти, и чувствовал себя внутри карты. Для меня всегда было понятно, где дом, где Воль, в какой стороне тракт. А вот шуровать палкой под кустами и в траве меж берез я не мог из-за скуки и слепоты, включавшейся, когда следовало лишь внимательно посмотреть и взять, что нужно. Сестры быстро набирали корзины, и, когда я просил их отсыпать мне ягод, они разбегались в разные стороны, дразнясь, и требовали: «Спой Лазаря!» Я пел: «Как тута быщи два брата родные, два брата родные – оба Лазаря...» Они слушали и давали ягоды. Вернувшись домой, мы бросали в молоко малину и наслаждались.

Стих я узнал от Ефросинии, у которой мы часто гостили. Маргариточка звала бабушку Фосей. Она стояла на коленях перед двумя иконами, чьи недоуменно глядящие святые были прочерчены плавно, а серые ангелы выходили из пасти самого огромного великана с клыками, бородой и глазами навывкате. Это ад, объясняла Фося. Ни на каких иконах такого ада нет, только у нас ад – это человек. Ближайшая церковь, которая приняла бы ее как свою, была где-то на краю губернии, и выбралась она туда лишь раз, чтобы покрестить мать. Фося рассказывала, что дед ее был из липован – живших у Черного моря староверов – и протестовал против того, чтобы его дочь уехала с мужем и жила среди никониан. От той веры у Фоси остались книжечка с молитвами и стихами и почерневшие иконы. А еще у нее стояли кросна.

Кросна походили на большую прялку, только были устроены сложнее. На них можно было плести в восемь ниток, с узорами – кружками, волнами, елкой, гречишкой и рыбьей чешуей. Фося за работой не отвлекалась, потому что пойдет нитка не туда – и поминай как звали, дурной узор распутать нельзя. «Смотри, Варя, – говорила она матери. – Нитки кучерявятся, не косматы. Давай Господи, чтобы и в кроснах было спешно, и была охота их вытыкать». Фося подарила нам скатерть: в первом ряду гуляли павлины, во втором тоже павлины, а между ними пряник. В третьем она думала соткать гусыню напротив индюка, в четвертом курицу и утку, в пятом голубя с ястребом, в шестом журавля и тетерева – но не успела. Когда она умирала, нас с Марго послали в Издешково за крестной. Мы приехали, а у Фоси уже онемела правая сторона. Она указала левой рукой на печь, где хранила скатерть. Мы бросились туда, но ничего не обнаружили и, как ни искали, не нашли нигде: сотканное пропало. Из Фосиных глаз только слезинка выкатилась.

Я взял из ее комнаты книжку со стихами, мне очень нравился один, бабушка распевала его протяжно: «Как ходил же грешный человеке он по белому свету. Приступили к грешну человеку к нему добрые люди. Чего тебе надо, грешный человеке, ти злата, ти серебра, ти золотого одеяния? Ничего ж на свете мне не надо, ни злата, ни серебра, ни золотого одеяния – только надо грешну человеку один сажень земельки да четыре доски». В старших классах я пел это, когда ездил в ярцевскую школу, запрыгивая на проходящие поезда. Наверное поэтому мне много лет снились скругленные рельсы, будто путь все время поворачивает и мы должны были бы кружить, но круга не получалось и навстречу неслись всё новые пашни, птицы, мосты через безымянные речки, хмурые небеса и лишь изредка лес и избы вдалеке.

Когда мне было четырнадцать, нас выселили на край Вышегора, на болото. Пообещали осушенную землю, а на самом деле привезли к громадным лужам с грязью. В одну из них, споткнувшись, упала Маргариточка и не смогла встать, потому что засосало, и так лежала, крича, пока Толя не залез по колено в жижу и не дал ей руку. Мать хоть и не взяла иконы после смерти Фоси, но молилась на коленях, благодарила Бога, что успела намекнуть в письме отцу, чтобы тот спрятался. Нам-то повезло. Тех, кого приписали к зажиточным, да еще с женщиной в семье, увозили в Ярцево и сажали под охрану.

Затем грузили в вагоны, давая зерна на несколько недель, и – стук-перестук, в путь. Куда?

Нас не трогали, хотя и грозили, как и всем хозяевам, кто жил хутором: не вступите в колхоз – вывезем. Сначала казалось, что просто пугают, а потом серые шинели нагрянули к Бухаревичам, чей дом стоял ближе всех к станции. Отобрали обувь и одежду, ходили туда-сюда, приносиваясь, примериваясь к утвари. Бухаревичи надели на детей чистые рубахи и верхнюю одежду, сколько налезло, и раздали им в долгую дорогу подушечки. У телеги с мешками все просили у них прощения, не зная, чем помочь. Один с наганом склонился к другому и что-то приказал. Тот подошел к детям и забрал подушечки. Вскоре они навестили и Перфильевых. Привели их отца из Следнева, где тот прятался у свояка в овине. Сестру крестной Елизавету с хромым мужем, завмагом с полустанка, тоже увезли на конц-пункт. Через знакомого шофера мы переправили им записку и получили ответ: «Говорят, что всех под Томск».

Спустя месяц опять приехал уполномоченный с заданием от районной тройки. Он ходил по селу и выяснял, кто из оставшихся ведет себя по-кулацки, а затем созвал партком, ячейку той самой бедноты, что плакала с нами, провожая Бухаревичей, и они что-то решали. Нас зачислили в третью категорию, что значило – переселиться, но недалеко. Им понравился наш дом. Мы взяли корову, а свиной и отцовскую выездную лошадь отдали. Наступила голодная зима в чужой брошенной избе. Младшие спали на печи, но не из-за того, что теплее, а потому что там могли удержаться лишь самые легкие. Я залез туда в первую же ночь, и кладка провалилась – вместе с матрасом и мной. Она обветшала настолько, что верхние кирпичи расшатались, просели, и полетели искры, матрас задымил, и я еле успел спрыгнуть. Издешковский печник выругался и укрепил кладку, как мог, но предупредил, что она долго не протянет. Мы бы не пережили зиму, если бы не переводы отца, который стал больше зарабатывать на кирпичном заводике. К весне мать поняла, что все равно не протянем, и все по-тихому перебрались в Фосин дом на краю Ярцева, который так никто и не купил. Для отвода глаз мы по очереди ходили топить избу и ухаживать за коровой.

Вскоре приехал отец, и на этот раз надолго. Он устал скрываться, к тому же кирпичный заводик отобрали, сообщив хозяину, что нэп закончился. Отцу исполнилось пятьдесят шесть, он выправил себе какую-то справку и явился с нею в совхоз наниматься сторожем. Показал ободранные ладони и произнес заготовленную речь, что стер бывшую жизнь. Работников в совхозе никогда не хватало, и его приняли, разрешив остаться с семьей в Фосином доме. Отец стал сторожить участок рядом с нашей окраиной. Сначала мы боялись, что нас не бросят преследовать, но безумие вдруг понемногу стихло. Никто больше не агитировал вступать в колхоз. Отец расчистил Фосины сады – один на десятину, другой на треть десятины – и зарос-

шую липовую аллею, ведущую к переезду. Срезал сухостой и больные деревья, ухаживал за грушами, сливами, вишней, красной, черной, белой смородиной, крыжовником, клубникой.

Мимо стучали и гудели поезда. Когда я ходил в школу, слушал их грохот и любил запах креозота, пропитавшего шпалы, и эти звуки и запахи стали мне домом. Чудовища спрятались, и теперь, когда уже без собаки вставал к окну ночью, над лесом не было зарева. Из-за разницы в годах отец мало говорил со мной, каких-то дельных советов я от него не дождался. Я привык быть старшим мужчиной, и под одной крышей нам стало тесно. С другой стороны, теперь я был свободен от многих забот, и родители решили, что мне лучше учиться. Отец настаивал на том, что я должен стать инженером: «Хозяев выдавливают с земли, то ружьем, то налогами, и конца этому не будет. Жизни на земле больше нет, а есть рабство». Институты для меня как сына «контры» были закрыты, поэтому отец навел справки и из близлежащих техникумов выбрал гидротехнический в орловском селе Брасово. Когда-то он ездил туда на конезавод смотреть рысаков. Наблюдая, сколько я читаю, он сказал, что Брасово – поместье великого князя Михаила Александровича, и библиотека там была могучая, и наверняка в ней осталось много книг. Но меня захватило не это, а новость, что в техникуме готовили топографов. Я мог часами разглядывать карты на форзацах книг и, конечно, чертил свои.

Перед моим отъездом отец разговорился в первый и единственный раз. «Сколько я ни управлял, неважно чем, собой, или работником, или заводом, я понял, что самое страшное – это обыкновенная, бытовая ложь, – сказал он. – Ладно, если люди врут тебе – со временем ты научаешься это распознавать; хуже, когда соврали себе, а потом пересказали тебе, и ты слушаешь и начинаешь верить. Сначала я стеснялся, а потом хватал людей за плечи, и сажал напротив себя, и просил рассказать по порядку, как все было или что он понял. По ходу перебивал и уточнял – и начинал понимать, где ложь, где лукавство, где самоубеждение. Так же и с собой: ты попал в какие-то неприятности, тебе уже долго отчего-нибудь горько, и оказывается, что тебе неудобно поступить так и этак – и даже если так поступить очень нужно, ты подчиняешься своему предубеждению и решаешь все делать по-другому. Это беда. Учись отделять свою ложь себе же». Он умолк ненадолго, а потом продолжил: «Да вот только ложь сейчас правит. Хотя ты от нее и не убережешься, но если будешь крепко стоять на земле и уважать себя, то не сломают. И пока не сломали, не бойся смотреть на все вокруг так, как будто ты чужеземец или вообще не человек, а какое-нибудь существо, неважно какое, но наделенное трезвым разумом». Я уже уяснил, что именно хочу наследовать от него, и, когда он задумался, чему еще меня научить, не удержался и обнял его.

В первые мои каникулы я видел, как он бросился проживать все не прожитое с семьей и тратил деньги, которые заработал за эти годы. Построил баню с печью и полками, которая топилась по-белому. Вышегорскую избу превратил в сарай, добавив овин с сушилкой. Купил пароконную косилку и двух лошадей, а также ручной пресс для сена, которым паковал тюки по полста килограмм. Появились свиньи, овцы и вторая корова. Мать поверила – впервые за много лет вокруг не было оскала сизых морд, деловито подгонявших к дому соседей подводы с торчащими как кости оглоблями. Если раньше люди ходили, будто пауки ползали, то теперь немного распрямились. Мы, все четверо, подросли, и мать устроилась на ту же суконную фабрику, только теперь перевязчицей. Прошло три года, и на третьем курсе я похвастался, что заменял преподавателя по черчению. Мать с отцом, сидя на полуразвалившемся крыльце, за которым зиял черный провал сеней, переглянулись и сказали: «Нарисуй нам новый дом, этот уже мал».

Получив пожелания, я изобразил дом с фасадом метров двадцати в ширину. Крыльцо помещалось слева, за ним начинались просторные сени, затем прихожая с вешалками и лавками, выходившая в столовую. Справа была кухня и печь с лежанкой, слева – маленькая спальня для тех, кто рано приходил или уходил и не хотел беспокоить других. Из столовой шел коридор в гостиную. К гостиной я решил пристроить еще одно крыльцо, со стороны, про-

тивоположной фасаду, чтобы можно было спускаться по ступенькам в сад. Мне это казалось слишком роскошным, но отец и мать стосковались по уюту и поддержали. Из гостиной я прорезал двери в зал и направо в большую спальню. Мать хотела обставить зал кадками с цветами, поэтому в плане появились четыре окна в сад и три с торца дома. Еще в зале были две двери в комнаты – нашу с Толей и сестринскую. Под окнами маленькой спальни и столовой я нарисовал кусты жасмина, а под окнами зала – сирень. Строить помогали сосед Беспалов с двоюродным братом и шурином. Они работали не мастерски, но быстро. Мать варила им суп, отец лазал по стропилам, бродил туда-сюда, записывал всё в тетрадь, следя, чтобы не забыли положить замок, где надо, и выравнивали лаги по ватерпасу, а не на глаз. Вечерами они выносили стол в сад и пили под яблонями кислое вино. Новый дом был огромен и долго пах смолой. С опушки рощи, где мы с Олей, Маргариточкой и Толей лежали с корзинами, набрав белых грибов, он казался кораблем. Дело было перед тем, как я уезжал начинать последний курс в Брасове. Стоял безветренный, затянувшийся жаркий август, но я вовсе не был спокоен.

Тем летом, сойдя в Ярцеве, я не пошел домой, а пересек пути и спустился вниз по пойменному лугу. Был серый мокрый день, и я рассматривал следы на тропе: где велосипед с широкой шиной проехал, где ребристый с рисунком след сапога, где спешили узкие безымянные ботинки. Вдали шумела вода под мостом через Вопь, а за ним взмывал обрыв и выглядывала из-за деревьев башня с круглыми часами. Обычно здесь я сворачивал вправо и брел вдоль Вопи к нашему переезду. И тут я заметил косцов. Косцы шли по полю, что-то грозно высматривая. Поле было огромно, и вот они поделили его на участки и шли. Взмах – упали мать-и-мачеха и полынь. Они косили не все подряд, а выбирая: то пару цветков, то кусок поля. Нескошенные травы не распрямлялись, как бы опасаясь посмотреть в их сторону. Ничего больше не происходило, но что-то заставило меня побрести не обычной дорогой, а без разбору по берегу реки вправо в поисках брода или моста. Пройдя немного, я встретил поворот Вопи, где она становилась узкой, мелководной, с быстрым течением, и вода была чистая, словно хрусталь. Я почувствовал ужас и стоял, не понимая, откуда он взялся. Кажется, косцы смотрели на меня. Дома ужас исчез, но я запомнил это чувство. А в конце лета началось странное.

Я мало с кем дружил в школе, но все-таки, приезжая из техникума, приходил в субботний полдень к башне повидаться с бывшими одноклассниками. Наверху били круглые часы и ревел гудок, а со стороны реки на склоне под фабричными стенами лежали в траве мы и грызли травинки. Издалека и нехотя зародился сам собою разговор, что у знакомых, у соседей, да даже у родственников стали исчезать в семье люди. Сначала один рассказал, что у него пропал дядька, уйдя на перерыв в столовую, затем другой вспомнил, как неделю назад сосед не вернулся с дежурства, его искали, а потом сказали, что срочная командировка, но лица родных его посерели. Игнатенков, все время смотревший в сторону и люто, до кашицы мочаливший травинку, просипел, что батя вчера шумел с сослуживцем, мол, план у них хоть и жиже, чем в других областях, но все равно не хватит арестов ни по первой, ни по второй категории, надо поднимать агентуру искать врагов. Что значат эти категории, он не понимал, но мне было достаточно услышанного, я ощутил, что страх на лугу накрыл меня не зря.

Покупая газеты несколько недель подряд, я перечитывал их по три раза, стараясь уловить, что скрывается за передовицами. Я быстро понял, что бессмысленно верить сказанному в статье – это может быстро отмениться, – а важен тон, которым она написана. Этот тон предназначался, чтобы донести какими-то звуковыми колебаниями, расстановкой слов то, что на самом деле скрывалось за новым законом или указанием. Надо сказать, не один я был таким чутким, а многие. Но все боялись обсуждать уловленное – разве что с теми, кто от них крепко зависит: муж с женой, мать со взрослым сыном. Наконец я встретил статью о необходимости очиститься, о врагах, которые затаились и ждут часа. Я побоялся заговорить с отцом об этом и положил статью ему на стол. Он отказался брать газету в руки: нет, нет, я не хочу, я живу другую жизнь, и все это знают, и когда я возвращался, ходил туда (кивок через левое плечо), и

мне сказали: не шебуршись, ты смысл свои грешки. Они врут, крикнул я, они всегда врут, а ты учил меня ненавидеть ложь. Мы же видели, как нищают соседи, да вообще все вокруг, а они грабят, выскребают последнее. Отец посмотрел на меня, как на диковинное существо, перевел взгляд на буфет и произнес ровным голосом: «В магазинах есть хлеб. Ты учишься, и все твои знакомые тоже, а для меня сама возможность учиться была счастьем. Все поправилось. Нас сейчас никто не трогает». Его руки складывали и рвали газету, стопка становилась все толще, он кромсал уже крошечные клочки. Я ушел.

Тогда, в высокой траве, мы с Толей и сестрами возились целый час и потом обирали друг с друга муравьев. «Давайте поклянемся, – сказал я, почувствовав себя мальчиком в белой рубашке из журнала „Чиж“ – Давайте поклянемся, что что бы с нами ни случилось, мы не потеряемся, а если потеряемся, будем искать друг друга до последнего». Дети молчали и смотрели на меня непонимающими глазами. Им не терпелось побежать к ужину. Только Оля всю дорогу держала меня за рукав. Шагая по разнотравью, мы шли впереди всех, споткнулись, провалившись ногами в старую борозду, и упали. Ольга положила мне голову на плечо и обняла. Земля была теплая, шуршали травы, звенела вечность. Прележав минуту молча, мы встали. Все уже ушли. В саду отец срывал яблоки, стоя на лестнице, и бросал их вниз в мягкую длинную траву.

И вот не прошло полугода, как я сидел у светостола и вертел в руках обтрепанное, сложенное вчетверо письмо, которое вытащил из кармана. Скоро в чертежную должен был опять заглянуть Воскобойник, а у меня так и не находилось для него ответа. Измучившись, я приложил лоб к замерзшему стеклу. Эти кружки и подпольные ячейки – к чему они? Что мы изменим своей возней в крошечном сельце? И какой из меня заговорщик? Чего я вообще хочу? Я хочу изобретать станочки и копаться с приборами, вот и все. Еще хочу летать на шаре и снимать с воздуха, переводить фото в карты и скитаться в экспедициях, составлять планы – когда ты где-то далеко в горах и пустынях, легче уклоняться от взглядов чудовищ. Бросаться в подпольную борьбу, конечно, благородно, но я так не хотел. Желая выяснить, что с отцом, и найти его, я одновременно считал, что как-нибудь вывернусь, ускользну от оскалившейся головы того громадного бородача с иконы и смогу жить свою жизнь.

Я очнулся и произнес вслух: «Нет, я хочу найти отца». Воскобойник покачал головой. «Вот такая у меня идея», – добавил я и рассказал о разговоре с Игнатенковым под башней. Воскобойник вздохнул и молча протянул мне ладонь. Он даже не стал вытребовывать обещание хранить в тайне все, что я узнал; с другой стороны, если что, ему, наверное, было бы легко вывернуться, объявив меня, сына арестованного, лжецом, желающим очистить запятнанное имя. Разговор с Воскобойником заставил меня передумывать всю свою жизнь, и за это я был благодарен и пожал его руку рукой холодной, как у мертвеца. Хотя отец и был по-прежнему далек и сиял откуда-то сбоку, теперь я знал, что должен вернуть его, правдой или неправдой, подкупом, как угодно сделать так, чтобы он навсегда приехал в наш дом, в комнату с жасмином под окном, к липовой аллее, ведущей к переезду, и ко всем нам, ждущим его за вынесенным под яблони столом. Когда все эти картинки пролетели перед глазами и слезы были выплаканы, я понял, что обманываю себя, и обратной дороги из пасти красного великана нет, и отныне отцом придется быть мне.

Тем не менее, сдав последние экзамены, я сел в душный, тесный и пахнувший мокрым бельем вагон до Смоленска. Ударили морозы, и городские купола горели, как солнца над клубами пара, поднимающимися со дна города. В дыму шныряли подводы и редкие трамваи. Почему-то мне запомнился мальчик в картузе, подпоясанный бечевой, который вез повозку – довольно большой ящик, закрепленный на велосипедных колесах со спицами. Мальчик впрягся, встал под дугу как лошадь и так брел по улице. Я блуждал в пару и допытывался у интеллигентных горожан – то есть тех, кто носил очки, – как пройти к управлению НКВД. Наконец мне посоветовали, и я остановился у вытянутого пятиэтажного дома, каждое крыло которого завершалось башней. Слева от дверей сидел желтый как хина человек в фуражке со

звездой. Я спросил: «Где мне справиться о пропавших без вести? Может, нашли уже». «За справками... сейчас», – пробормотал желтый и написал адрес на обороте мятой карточки.

Через пять минут я стоял перед деревянным домом без особых примет. Обойдя его, я нашел дверь и шагнул в полутьму бюро. Справа светилося крошечное окошко. Приглядевшись, я понял, что ничего кроме него в огромной комнате нет, и сунул туда свое лицо. Тут же ко мне сбоку, нос к носу, приблизилась женская физиономия: «Что вам надо?» Я отпрянул. Из комнаты в окошке была видна примерно треть женщины. Словно отвечая урок, я отгарабанил: «Соловьев Дмитрий Давыдович, тысяча восемьсот семьдесят пятого, Ярцево, Крестьянская, дом шесть. Нет ли таких среди пропавших?» – «Ш-ш, тише! Что вы! Нельзя! Ваши документы». Я положил студенческий билет. Рука взяла его. С минуту документ изучался. «Ваш отец пропал или что-то еще?» Я ответил: «Что-то еще». Окошко закрылось. Спустя двадцать минут послышался стук каблуков по линолеуму, оно распахнулось вновь, в нем опять мелькнула треть женщины, и я услышал, как она шепнула: «Выбыл». Пока до меня доходило, что это значит, она накинула крючок со своей стороны. Когда же я, оставшись в темноте, наконец сообразил и крикнул: «Куда?», – отозвалась: «Справок не даем», – и добавила: «Не интересуетесь».

По дороге домой в голове крутились карусели вариантов и раскладов произошедшего, и я не мог ухватиться ни за одну и погрузился в горячий сон. В Ярцеве, как и в прошлый приезд, я пошел не домой, а к фабрике. От моста через Вопь под нее вела свежая тропинка, и я почти бежал по ней, радуясь, что одноклассники не бросили собираться, несмотря на зиму. Но в ту субботу никто не пришел. Продав под башней час и замерзнув, я спустился обратно к мосту и зашагал к переезду, перебирая ногами как можно чаще. Придется искать Игнатенкова в городе. Кроме него, у меня не было никаких связей с теми, кто арестовал отца. Дома все вышли обнимать меня к калитке. Девочки замотались в платки и глядели через плечо на ту сторону улицы, мать плакала. Толя пожал мне руку, и я почувствовал, что с ролью хозяина он справляется с трудом. Дом сгорбился, ветки деревьев обледенели. Ощущая, как прижимает меня к себе мать, я понял, что она узнала что-то новое.

На отца донес сосед Беспалов. Отца взяли утром, когда он собирался идти в совхоз по выпавшему недавно снегу. А на следующее утро арестовали самого Беспалова и его брата. Шурина, который жил с ними, повезло – отлучился в город. Перед тем как исчезнуть из Ярцева навсегда, он поймал мать у магазина, взял под локоть и, пока они шли под липами, рассказал ей все. Оказалось, строя нашу усадьбу, винными вечерами Беспалов слушал, что рассказывал отец. А отец не был совсем уж аккуратен: иногда критиковал, иногда сомневался. Шурин запомнил, как он удивлялся, что коммунисты вроде бы сообразили, что Европа им не рада и своих красных почти везде задавила – так зачем же, если советские люди умирают с голоду, поддерживать деньгами полудохлых камрадов. Беспалов слушал не просто так, а потому что ему надоело жить двумя семьями под одной крышей. Знакомый хвастался, как быстро отошли ему комнаты контры, на которую он написал куда следует. Беспалов был осторожен и сначала пришел на прием в чека, и там, конечно, сидели не идиоты. Они сразу всё поняли и подтвердили, что, мол, да, возможна и благодарность, товарищ. Доносчик откланялся, вернулся домой и изложил все, что запомнил, на двух листочках, проявив честность и ничего не выдумав. В чека, прочитав его бумагу, хмыкнули: «Потянет на каэртэдэ». Это случилось еще осенью, и Беспалов хоть и не знал, что такое каэртэдэ, но днями глядел из окна на наш дом, не едут ли к калитке автомобили. Потом решил, что проверка ничего не выявила, и занервничал. Но как только наступила зима, маруси приехали, и Беспалов увидел, как выводят отца. Он накинул зипун и побежал к родственникам хвастаться, а через день постучались к нему самому. Проковыляв по снежным колдобинам нашей Крестьянской, автомобиль свернул на Садовую и высадил Беспалова у дома двоюродного брата. Чуть поодаль притаилась вторая маруся. Арестованному велели позвать брата, Беспалов подчинился и выкликнул его.

Когда мы учились в седьмом классе, Игнатенков придумал игру. Взяв свечки, мы подкрадывались после захода солнца к усадьбам, где жили люди, казавшиеся нам пугливыми, и расхаживали, каждый под свое окно. По сигналу мы зажигали свечи, прикрыв огонь ладонями; затем подносили их к лицу, и по второй команде приоткрывали пламя и корчили страшные рожи, и тут же закрывали, чтобы сидящие в доме увидели в окне промельки багровых бесовских харь и завизжали. В общем, я направился к Игнатенкову со свечой. Днем он грузил тюки и кипы на фабрике, а вечерами его можно было застать до прихода отца. Я спрятался за углом избы с той стороны, где был их вход. Свет не горел даже у соседей, но я решил перестраховаться. После того как стемнело, Игнатенков появился. Чиркнув спичкой, я высунулся со свечой и перекошил над огнем лицо. Он не удивился и знаком показал, чтобы я следовал за ним. Спустившись через городской парк и дубовую аллею, мы прошли мимо фабричных стен и слабо освещенных корпусов, напоминавших мавзолеи, и остановились на Шумке, прямо посередине моста, над не оледеневшим еще потоком.

Перекивая воду, Игнатенков рассказал мне всё, что знал. После нашего последнего свидания у его отца начался переполох – всей конторой они не вылезали из-за столов, шерстя архив агентуры. Им спустили норму, сколько предателей надо найти и сколько из них расстрелять, а сколько послать трудиться на благо родины, – и с самого начала они поняли, что текущей разработки не хватает. Подняли остатки священников, выбрали всех с иностранными фамилиями, отчеркнули карандашом тех, кого уже брали за контру и кто приехал обратно. То же проделали с вернувшимися выселенными. Взяли доносы, самые глупые, по организациям – чтобы легче было объединить разные дела в одну террористическую ячейку, ведь если есть ячейка, можно расширять круг подозреваемых куда хочешь. Начались аресты. К ноябрю они взяли всех, кого могли, но по второй категории – тех, кого в трудлагеря, – нужной цифры все равно не достигли. Тогда они подняли вообще всю разработку за двадцать лет, придумав найти бывших, связанных меж собой, и оформить их как сговорившихся террористов.

Отца до поры до времени хранило то, что у него не осталось знакомых из прежней жизни. Игнатенков согласился, что трудно объяснить иначе, почему при наличии доноса его взяли только в предпоследний день охоты. Припоминаю, сказал он, что в последние дни перед отчетом, в начале декабря, врагов гребли уже мелкой сетью, так что понятно, почему ваш сосед с братом тоже загремели. «Что происходит?» – спросил я. «Как что, – ответил он деловито, – война. Чтобы точно выловить всех врагов, лучше ошибиться, чем сминдальничать. Ты думаешь, шпионов мало? Твоего отца я не видел, но ты-то сам знаешь, где он все то время разъезжал, пока ты был маленький?» Я с трудом удержался, чтобы не врезать ему и не заорать, что мой отец не виноват, а его отец не верит ни в какую войну и вообще ни во что, и просто, как и все они, держится за тысячу двести рублей оклада и премии, путевки, санатории, и пьет не потому, что перерабатывает или совестится, а потому что до смерти боится, что сдадут и сгноят его самого. Гнев жег меня, как йод рану, но я справился и покивал и попросил узнать, куда могли направить отца: вдруг все-таки ошибка?

Спустя неделю на том же мосту Игнатенков передал, что ему удалось узнать: всех увозили в смоленскую тюрьму, а оттуда кого куда неизвестно. Пожилых вроде бы старались посылать в ближайшие области. В предновогодние дни ярцевскую контору торопили из центра, чтобы побыстрее отправили им этап, так как не хватало контингента для переброски на строительство какой-то гидроэлектростанции. Едва дождавшись понедельника, я явился в библиотеку, повесил пальто и сел в читальном зале. Сначала я взял подшивки «Правды» за последние три года. Потом отложил в сторону и отыскал замусоленную книжку Уголовного кодекса. В уме отпечатались цифры пятьдесят восемь и десять. Я жадно долистал до первой и прочитал: «Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских советов и избранных ими, на основании Конституции Союза ССР и конституций союзных республик, рабоче-крестьянских правительств Союза

СССР, союзных и автономных республик или к подрыву или ослаблению внешней безопасности Союза СССР и основных хозяйственных, политических и национальных завоеваний пролетарской революции».

Это не разъясняло решительно ничего, и я стал искать десятый пункт. Измена родине, вооруженные восстания, сношения с иностранцами, оказание помощи международной буржуазии, склонение иных стран к вмешательству в дела... Утомившись, я долистал до нужной страницы и прочитал, останавливаясь на каждом слове: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение, или изготовление, или хранение литературы того же содержания». Переписав формулировку в тетрадь, я взял подшивки и листал их до вечера. Выписав планы электрификации и сдачи новых гидроэлектростанций, убедился, что, если верить Игнатенкову, отца могли увезти либо на Мету, либо под Углич. Тут же замелькали и выстроились в стройный план мысли. Можно поступить так: сдать экстерном экзамены и распределиться в контору, работающую на стройках в качестве мелиораторской или землемерной. Но в какой области? Бросившись к полке с атласами, я открыл карты и увидел, что стройка мстинской электростанции находится в Ленинградской области, а угличской – в Ярославской. Придется выбирать.

«И чего ты хочешь добиться?» – спросила мать, когда мы сели ужинать. Из темноты на меня смотрели глаза Оли – так, что хотелось отвернуться, – непонимающие очи Маргариточки и тревожный взгляд Анатолия, который надеялся, что я вернусь надолго и разделю с ним дела. «Хотя бы увижу его, – ответил я, обжегшись об ложку с гороховым супом, который мать заставляла есть горячим. – А кроме того, я слышал, что кроме лагерей есть еще поселения, и, раз он считается пожилым, ему могут разрешить жить в таком поселке. Я бы тогда устроился рядом и помогал».

На самом деле ни в чем таком я не был уверен. Игнатенков сболтнул мне о поселениях рядом с лагерями, там жили вольнонаемные, однако они не могли уехать до конца срока, – но вообще-то после известия об отце я ощутил ненависть к месту, где жил, мне хотелось поехать прочь, отправиться в странствие, только бы убраться отсюда. Трудно сказать, чего было больше, страсти увидеть мир или найти отца, потому что мы все же не были близки настолько, чтобы я ощущал его отсутствие как отсечение важной части тела или утерю куска души. Мне было стыдно признаться в этом сейчас, за столом, поэтому вслух я повторил, что, конечно, такие выпускники, как я, могут много заработать только на стройках, а в Ярцеве мне заняться нечем. Это было правдой: в округе ничего не возводили, не копали и не осушали, и передо мной не маячил даже скучный труд топографа. Все выслушали меня и согласились с моими доводами, потому что надеялись, что с отцом случилось недоразумение и мы сможем его вернуть, и, если я начну наводить справки на местах, что-то может обнаружиться. Мать повторяла: «Нет, за что? С кем ему контрреволюцию творить? Со стариками? Со Степаном?» Я объяснял как мог, что происходит, и твердил, чтобы все молчали обо всем. «Думаешь, я не понимаю?»

Они стояли передо мной в теплых сенях, пахло смолой и сырой одеждой. Часом раньше Оля прорыдала: «У меня был старший брат, и я знала, что, если что, он поможет, а теперь его нет», – и вытерла мокрые ресницы об мое плечо. Я пытался лепетать что-то утешительное, мол, буду недалеко и, если что, за сутки доберусь, но Оля обо всем догадалась и вцепилась мне в руку ногтями: «Тебе дороже то! Все, что там! А мы – нет. Папе уже не поможешь...» Она осталась в комнате, а с другими мы обнялись в сенях, слепившись в ком из голов, плечей и рук.

На прощание я посмотрел на дом, походил по саду, проваливаясь в сырые сугробы, и заглянул в небо. Когда отца увозили, начинался снегопад, он был в сапогах, сивой дерюге, которую ему дали для дежурств, в ватных брюках, в треухе, и чем дальше я представлял все – как он догадался, как сам направился к ждущим его васильковым околышам, довольным, что не придется бегать по сугробам, как ежился под падающими сверху клочьями снега, идучи к

автомобилю, как знал, что больше не увидит тех, к кому стремился все эти годы, – тем острее я хотел убить их, жестоко замучить, и тем ближе становился отец, который достался нам такими осколками, обломками. И тем сильнее я понимал его, чувствовал то, что чувствовал он: что жизнь кончилась и дальше одни только унижения и муки, – и понял, что вряд ли найду его, но попытаюсь обязан.

Брасовская весна зияла проталинами и серыми ледяными лужами, пахла тающей целиной и обнажала влажную землю. Последние занятия сорвали скворцы. Их многотысячная стая то опускалась на поле, то срывалась в полет и кружила, сворачиваясь в диковинные фигуры и колеблясь в воздухе как волна. Завороженные, все высыпали из классов и наблюдали. В тот день мне разрешили сдать экзамены, не дожидаясь июня, и я был принят Космылиным. К нему явно наведывался Воскобойник, так как директор стал уговаривать: вижу вас как преподавателя, вас уважают младшие курсы, педтехникум окончите заочно, у вас будет время на эксперименты, я слышал об идее по изучению аэрофотосъемки, многообещающее направление, сколько трудовых ресурсов оно высвободит советской республике, которой это так необходимо сейчас, подумайте еще раз. Я слушал, и как-то сгущался, и наконец оборвал его, сказав просто «нет». Тут же, впрочем, я спохватился и объяснил, что без опыта ничего не стою как учитель, а как специалист аэросъемки не существую вовсе, поэтому сначала хочу приобрести опыт на стройке будущего, куда меня должны взять с нашим гидрологическим и геодезическим образованием. За мной младшие сестры и братья, так что далеко от дома уезжать не хотелось бы. Понимаю, что в трудное время капризничать стыдно, но прошу вас распределить меня на стройку электростанции, например, Мстинской или Угличской. Космылин поглядел с любопытством, но, помня мое личное дело, решил, что лучше не вникать в подробности.

Спустя месяц ему ответили из водных контор Ленинградской и Ярославской области, что взять меня не могут. Однако кто-то упомянул, и Космылин за это зацепился, что строить гидроэлектростанции обычно привлекают специалистов из соседних областей. В Калинин у него служил знакомый, и он, воодушевившись, подскочил на своих костылях к телефону и позвонил ему. Тот, к счастью, оказался рядом с аппаратом и ответил: гидротехникам нужен прораб прямо сейчас, но он ничего не обещает, тем более если сотрудник неопытный. Космылин знал, что на практике с подчиненными наблюдатором, записатором и речечниками я всегда опережал других бригадиров, и, обернувшись ко мне, сказал в трубку, что Соловьев не обманет надежд.

Когда я притащил в калининскую контору Мелиоводстроя свой чемодан, меня, конечно, никто не ждал. Все были заняты, а знакомый директор куда-то уехал. Я прогулялся по набережной и спустился к Волге. По мосту ползли за реку машины, а на дальнем берегу рабочие разбирали леса у побеленного здания из трех застекленных ротонд, поставленных друг на друга, с колоннами и шпилем. За ним мерцали чешуйчатым рыбьим блеском купола церквей. Калинин напоминал Смоленск дребезжащими трамваями и грязью, но в прочем отличался – здесь сплеталось несколько рек, дымили фабрики, а кварталы городских домов, изб и бараков напозлали друг на друга так, что невозможно было понять, где кончается один и начинается другой.

Вечером директор все-таки приехал в контору, пожал потной рукой мою руку и вызвал кадровика. Тот, глядя в сторону, прогундосил, что в общежитии мест нет уже давно, и вы это знаете, квартиру до конца года контора оплачивать не может, и он лично способен разве что пошуршать у несемейных служащих, кто хочет подселить к себе молодца. Директор выругался, позвонил начальнику хлопчатобумажного треста и попросил его пустить меня на два месяца на какой-то двор. Я уже вообразил, как сплю на траве, накрывшись куском картона, но получил листок с адресом и прочитал еще более странное: «Париж номер семьдесят, к Кузовлеву, второй трамвай». Воспользовавшись случаем, кадровик вцепился в директора по поводу взносов, и они ушли, закрыв кабинет и продолжая по дороге спорить.

Остановка трамвая была пустынна. Вскоре показался второй номер из центра, я вволок по ступенькам чемодан и через полчаса сошел у кованого забора и ворот с толстыми, словно

раздувшимися столбами. Вокруг темнели пыльные кирпичные склады. Ворота никто не охранял, и я вошел внутрь. Косой переулок вел мимо совершенно нездешних, казавшихся европейскими, домов с узкими высокими окнами, панно из плитки и кирпичным декором. Вокруг разметалась непролазная грязь. Я повлек чемодан к мосту с табличкой «р. Тьмака». Узкая река пахла тиной, а ее берега были обшиты досками. Солнце еще не зашло, день стоял жаркий, и дети прыгали с моста в Тьмаку. Пролетев несколько метров, они уходили с головой под воду, выныривали, совершали несколько гребков, цеплялись за доски и вылезали. За ними приглядывал старик. «Мне нужен Париж, – неловко сказал я ему, поздоровавшись. – Номер семьдесят». Он махнул рукой через площадь за угол высокого корпуса и пообещал, что там начинается улица, которая приведет прямо к Парижу. За углом я увидел дорогу, вдоль которой уходили на километр вперед ряды таких же виденных лишь в книжке по истории архитектуры кирпичных домов, хотя и чуть более угловатых и без панно, а по левой стороне размещались склады. Улица заканчивалась замком с тремя башнями, увенчанными коронами. Все это совсем напоминало бы ту книжку, если бы я не заметил сада. Там зеленели шиповник и жасмин, на аллеях и скамейках шумели компании, а в некоторых кустах лежали люди. Всюду валялись осколки, бутылки, обертки, и среди этого хлама высились пилоны замка, стремились к небу контрфорсы. Это и был Париж.

Мимо промчался самосвал, дал по тормозам и начал сдавать прямо на меня. Я отошел чуть в сторону и увидел распахнутое настежь окно подвала. Водительская дверь открылась, в нее выглянуло курносое лицо и рявкнуло: «Уйди от ямы!» Я попятился. Грузовик придвинулся к дому, поднял кузов и стал сыпать брикеты торфа прямо в подвал. Я заглянул туда и увидел голого человека, прикрытого какой-то ветошью, – он метался как бешеный и швырял брикеты в зев печи. Водитель высунулся еще раз и предложил подвезти, куда надо. Это было ни к чему, до Парижа оставались сотни метров, но я залез в кабину. Оказалось, тепло от печи шло по трубам снизу до верху дома, имея на каждом этаже выход в общей кухне. Причем не один выход, а десять разных заслонок – каждая хозяйка ставила чугунок в свою печную нишу и доставала его после возвращения с фабрики теплым. Рядом с заслонками общежитцы малевали мелом угрозы тем, кто залезет в чужую нишу. Своих кухонь на Пролетарке не было ни у кого, кроме инженеров и начальников, которые жили как раз в тех первых домах у трамвая. Шофер сообщил, что городок текстильщиков построил миллионер Морозов при царях. Кто такой Кузовлев из моей записки, он тоже знал – это был комендант. А Парижем замок называли за то, что его архитектор выиграл приз на Всемирной выставке в Париже. Здание оказалось такой же казармой, но очень длинной, украшенной наверху цветками и витражами на фасаде.

Комендант прочитал записку, выслушал меня и просипел: «Камора твоя будет в глагольчике». – «Где?» – «Сейчас увидишь».

Мы поднялись в казематы – сырые коридоры без окон с дверями, ведущими в общие комнаты. Перед нами выкатился клубок сцепившихся чумазных подростков. Они втянули бы нас в свою драку, но разглядели в полутьме коменданта и закричали: «Хожалый! Хожалый!» Так здесь называли взрослого, которому надлежало утихомиривать детей тех, кто в это время еще не явился со смены. Во всем Париже пахло супом. Наконец мы достигли коридора, шедшего вдоль окон всего здания. Глагольчиками называли его ответвления. Меня подвели в комнату, где размещали командированных. Соседи, льнозаводчики, ждали, пока калининцы оценят их сырье, и репетировали ругань с приемщиками. В коридоре-проспекте едва ли не каждый вечер кто-то играл на гармошке, начинались пляски, и из комнат вываливал сонм женщин, обвитых какими-то тряпками, и присоединялся к танцу при тусклой лампочке на засаленном полу. Меня тошнило даже не от запаха, а от непоправимости и сходства всего этого со сценами на Фосиных иконах. Жильцы отучились делать что-либо отдельно: они вместе ходили есть в столовую, в клуб, и, если кто-то один наказывал детей, тотчас сбегались другие и обступали жертву и мучителя, громко костеря обоих. Так же сообща били воров и тех, кто уклонялся

от принятых привычек. Одна переселившаяся семья поставила на свой стол в кухне новогоднюю елку, не придав значения тому, что жильцы водрузили общую елку у печи. Сначала у семьи отступников исподтишка оборвали игрушки, а когда они стали возмущаться и искать обидчика, на кухню вышли вразвалочку мужики и избили родителей. Их дети еще месяц не могли пройти без зуботычины от соседских. Правда, потом они сошлись с обидчиками, и я слышал, как их мать говорила, что они ошиблись и что их правильно встряхнули, поставили на коллективные рельсы.

В Париже я прожил год. Сначала директор мне не доверял и дал бригаду из стариков. Потом я понял, что на доверие ему наплевать – молодой прораб понадобился ему, чтобы встряхнуть пожилых монтажников, так как план не выполнялся, а работать сосредоточенно не умел почти никто. Ни о каких стройках электростанций речь не шла: мы затаскивали баки на колокольни и подключали их к насосам. Водонапорных башен тогда было мало, и новые ставили лишь в больших колхозах. Познакомившись с подчиненными, я быстро все понял про каждого и вычислил интригана Кузьмина, чей племянник сидел в финотделе. Кузьмин записывал себе лишнюю работу и оставался без наказаний, пока я однажды не поймал его за попыткой продать пятнадцать метров шланга. После этого он стал отзывчив и иногда интересовался у племянника о запросе на кадры и планах конторы. Знакомый Космылина, видимо, приврал, потому что на Мстинскую электростанцию никого из гидротехников не отправляли.

Дождавшись момента, когда выпал короткий отпуск, я поехал сам. В Боровичах выяснил, где трудовой лагерь, а добравшись до поворота к нему с попутным грузовиком, понял, что лагеря еще нет. Люди, не похожие на *prisonniers*, как я их представлял, возили в тачках грунт. Они работали в таких же спецовках, как у нас, и имели такие же чумазые и блестящие от пота лица. Их отряд строил бараки в поле, обнесенном колючей проволокой, в километре от реки. Я насчитал не более пары сотен человек, развернулся и, отмахиваясь «Красной искрой» от комариных полчищ, зашагал обратно – среди них не было никого старше пятидесяти. Пришлось написать домой, что поездка к товарищу в Боровичи прошла без приключений, но нельзя сказать, что удалась, здоровье в порядке, записываюсь на экскурсию в Углич.

Однажды по дороге от Парижа к трамваю я заметил, что у клуба циркулируют массы. Под вывеской «Театр» кто-то дописал еще одно слово – «народа». Слева от дверей на доске висел плакат «Суд над студентом», который изображал человека неопределенных лет, бросающего исподлобья взор на балагурящих однокурсников. С утра я уже несколько раз слышал на разных этажах разговоры о суде. Агитотдел иногда судил врагов, и врагом назначали кого-то определенного: бракодела, кулаков, подстроивших железнодорожное крушение, акушерку за аборт, приведший к смерти, и даже свинью, съевшую тесто в квашне, – хозяин той оказался единственным и лодырем, навредившим соседу. Я вспомнил, как читал в брасовской библиотеке, что в Средневековье инквизиторы казнили на площадях не только ведьм, но и волков, лис, даже муравьев, которые утащили муку. Но сегодня Париж был особенно взволнован, потому что судили туманного студента непонятно за что. Агитотдел загадал загадку, чтобы зрители пришли со всех корпусов. Я кончил дела до обеда и вернулся в городок заранее.

Агитаторы расставили столы полукругом – в середине сидел судья, слева прокурор и свидетели, справа адвокат, – а рядом выдвинули вперед стул обвиняемого, которого, видимо, хотели судить заочно. В пять минут зал наполнился. Я сел в последнем ряду у выхода. Люстра под потолком горела как самовар, театр был громаден и гулок. Рядом со мной сел незнакомый парень в измятом пиджаке и нарисовавшая помадой на губах бантик фабричная. Неожиданно все началось. Из-за кулисы как бы в задумчивости вышел начальник агитотдела, игравший на судах главные роли. Пройдясь туда и сюда, теребя подбородок и вороша усы, он сел за стол судьи прямо в гимнастерке – мантия в этот раз отсутствовала – и заговорил как бы сам с собой: «Вот мы всё твердим „эксплуататоры“, „эксплуататоры“, когда говорим о старых врагах коммунизма, и, конечно, думаем – о ком это сказано? О купцах, генералах, кулацком элементе и

так далее. Мы думаем, что их уже нет, что выметена эта братия красной метлой. Но давайте подумаем: как быть с теми, кто сам не смог стать воротилой, но помогал другим воротилам угнетать? Приказчики, управляющие, инженеры, продававшие свой труд задорого капиталисту, начальники цехов, пекарен, винных заводов, да каких угодно предприятий – сколько таких было до великой революции? Миллионы. Советская власть взяла в кулак и удушила одних, а других отправила работать на благо страны. Но тем временем, пока мы оставили в покое их семьи, дети врагов, не имея права идти как рабочая молодежь в институты, стали учиться после школы – на тех же инженеров, зоотехников, землемеров, юристов. Особенно, конечно, на бухгалтеров – чтобы быть поближе к деньгам. Они считают себя умнее, родовитее! Таков и наш обвиняемый».

Агитатор обвел рукой пустые стулья и ткнул пальцем в тот, что был предназначен студенту. Лишь в этот момент занавес дернулся и уполз. Адвокат, прокурор и свидетели заняли свои места. «Прислали новую методичку, – прошептал сосед фабричной. – Рубить как в жизни. Не устраивать действо». Артист продолжал: «Не будем, однако, торопиться с выводами. Эти студенты выучились, и многие приносят пользу народному хозяйству, находясь под контролем партийцев и органов безопасности. Они незаметны, их можно вычислить только по тому, как ненавязчиво и всегда обоснованно они уклоняются от общественной работы, от инициативы, от высказывания мнений о текущем моменте. Вот почему сегодня нет подсудимого здесь. Он спрятался. Он пустое место. Он, может быть, в этом зале. Опасно ли пустое место?.. Предоставим слово обвинителю».

Вышел прокурор, кудрявый и с косым ртом, навис над столом и начал излагать. «Дело, товарищи, на взгляд обвинения, проще пареной репы. Международная обстановка диктует нам, что...» Далее он двадцать минут разъяснял то же, чем в последнее время нам надоедали на политинформации в Мелиоводстрое, где отродясь никаких лекций не читали, кроме как о вреде пьянства. Война с вероломными финнами, немцы точат зубы, Гитлер задушил коммунистическое движение, и мы слишком снисходительно наблюдали, как он наращивал мощь, а потом напал на соседей. Мы одни в кольце врагов и безумцев, которые чуют, что коммунисты сильны, и потому хотят вызнать, какие есть резервы для предательства внутри советского общества. Наши испанские товарищи проиграли генералу Франко, так как в Мадриде, осажденном четырьмя его колоннами военных авантюристов, ждала еще пятая колонна – многочисленные иуды из числа жителей. «Сейчас, когда родина окружена и грядет война, остается заключить, что студент Имяреков по меркам тревожного времени есть выгодный врагам изменник, – бормотал прокурор. – Таких студентов, тайно презирающих рабочий класс, товарищи, сотни тысяч. Иногда они заняты на действительно важном производстве, поэтому необходимо выявить среди них по-настоящему колеблющийся антисоветский элемент: кого-то сконцентрировать за Уралом, а за кем-то усилить контроль. Считаю целесообразным отправить студента Имярекова на пять лет в трудовой лагерь».

Он сел, вытирая косой рот, и судья вызвал адвоката. Тот прокартавил, что не время разбрасываться кадрами в ситуации, когда индустриализация набрала ход. Сомнительные кадры можно прижать к ногтю, но как бы не раздавить по дороге только-только сложившихся специалистов, как бы не прервать сложившиеся инженерные преемничества. Тут мой неотглаженный сосед расправился и крикнул: «Хорош!» Все обернулись. «Хорош! – повторил он. – Прямо сейчас – к ногтю! А если правда война?! Предатель побежит к врагу. Нельзя упускать! Давить прямо сейчас как гниду!» В другом конце зала начался недовольный разговор. Его инициатор прибавил в громкости и осадил кликушу в том смысле, что в его отделе работают трое сыновей бывших и они скромные труженики и не высовываются не из-за того, что скрывают, а потому что стыдно им, товарищи, внутри себя стыдно; уж не знаю, как вы, а за своих поручусь. Некоторые лица размягчели, заволновались, и многие закричали: «И я знаю!»

И я знаю! И у нас такие есть!» Я заметил, что сосед в белье перестал кривляться и, вытягивая шею, внимательно смотрит, кто и где кричит. На прошлых судах зрители просто голосовали, а теперь агитаторы спровоцировали диспут.

Голоса в моей голове смешались в единый вой, я вцепился в подлокотники кресла и понял, что не могу вдохнуть воздуха. Ужас пронзил тело холодной иглой и заставил скрючиться, тшась найти положение, в котором мышцы, отвечающие за дыхание, оживут. Люстра завертелась как горящий пропеллер. Зал тем временем притих, судья встал и стал произносить что-то грозное, отчего заступавшиеся за своих подчиненных спохватывались и начинали неумолчно болтать и каяться. Борясь с подступающей тошнотой, я каким-то краешком сознания догадывался, что они отрещивались от тех, кого защищали, потому что судья обвинил их в пособничестве. Сидящие превратились в десятки машинок, которые стучали, звенели и отчаянно калькулировали, кого из подопечных выгоднее сдать, чтобы самим не попасть на карандаш. В апогее своего беснования они под зоркими взглядами особистов клялись, что вычистят гнойник. Когда это кончилось, зрители, очистившиеся от скверны, повалили к выходу, и я присоединился к ним, слившись с толпой и опустив плечи.

Направления в Углич я прождал год. Правда, вызвали не на электростанцию, а на водохранилище при ней. Вместе с десятками других геодезистов мы снимали рельеф берега Волги у Калягина. Этот сонный город хотели затопить почти целиком. Кроме него под воду отправляли еще несколько городков и сонм деревень – все селения, что лежали в пойме Волги. Мы высадились, не доезжая Калягина, и пошли к городу теодолитным ходом через деревни. Колея вела мимо черных домов, к чьим треснувшим окнами прислонились осколки старой жизни: то кукла без лица, то подсвечник. Дома пустовали, но были аккуратны, словно хозяева уезжали ненадолго. В городе остались тоже только деревянные дома, а все прочие были разобраны. Белокаменный монастырь взорвали. «Тут изразцы рисовали со львами, кошками и всякими животными и кружевницы по избам сидели, – просвещал местный инженер, ехавший с нами. – Давно дело было, меня еще не было. Пропало все, ушло куда-то. Вот и сами деревни теперь под воду уйдут, и хорошо, пусть власти рабочих послужат, так?» Под его болтовню мы пересекли слободу, протряслись по торговой площади и наконец заглушили мотор у колокольни. Она напоминала ракету из книги о космических поездках, которую я читал в Брасове, если бы такую ракету собирали в Риме: вторую из четырех ее ступеней венчал портик, а каждую ступень поддерживали шестнадцать колонн. Вокруг уже отсыпали вал. Колокольне предстояло торчать из-под воды бакеном на крутом повороте реки.

С ее верхотуры открывался вид на город. Люди ушли, утром начиналось затопление. Инженер курил, стоял безветренный вечер, снизу плыли дымка и тишина, и разве что урчали грузовики, эвакуировавшие последние бригады. Закат спускался к реке, и дома стояли молча, погружаясь в долгий сон. С нашей площадки виднелся кусочек внутренней стены колокольни, и там светлел кусок свода, где старый знакомый, черный пес, влачил в ад колесницу. А вскоре мы сидели на берегу и наблюдали, как вода из открытой плотины уносит остатки утвари, изгороди, пугала. Перерыв кончился, и, вздыхая, бригада поволокла теодолиты вниз по берегу. Бывшая жизнь уходила атлантидой под темную бурлящую воду, мир надломился, на моей земле случилось что-то непоправимое, и было ясно, что это вряд ли можно будет залечить временем. Пока мы несли инструменты, начался ливень и все скрылось. Лишь колокольня маячила сквозь пелену рыбьей костью.

Люди работали на совесть. За день мы проходили двойную норму, и вскоре нас заметил главный землемер и перевел на электростанцию. Однажды мы с ним остались в конторе за полночь, проверяя съемку калькуляцией. Я знал, что моя бригада на хорошем счету, и спросил, можно ли справиться о наличии в списках рабочих на сооружении электростанции такого-то человека, кстати, опытного топографа. Землемер сообразил, к чему мой вопрос, и сказал, что можно, так как он должен знать, кто из занятых на стройке рабочих ценен, чтобы такие кадры

выполняли квалифицированную работу. Я назвал отца и, чуть вздрогнув от выговариваемой лжи, заверил, что он мастер хоть куда, но по недоразумению ему на время пришлось заняться другой работой. Землемер долго не вспоминал о моей просьбе, и только когда мы затаскивали ящики с оборудованием в грузовик, чтобы ехать в Калинин, он подозвал меня и проговорил: «Здесь вашего отца нет». Увидев гримасу на моем лице, он добавил: «На вашем месте я не был бы уверен, что он вообще куда-либо прибыл».

Я, конечно, думал об этом, а также о том, что отец бледнеет в моей памяти, как на пересвечиваемом негативе. Вернее, я не хотел об этом думать, и гнал такие мысли прочь, и действовал так, будто ничего подобного случиться не могло, – но изгнать их не смог. Что мне оставалось? Разве только дожидаться большого отпуска, явиться домой и попробовать вызнать хоть что-нибудь новое через Игнатенкова.

Но я не успел. Поезда уже не ходили. Я позвонил из конторы – сразу после того, как всех собрали и объявили на случай, если кто не слышал радио, что всё, началась война. На вокзале тоже долго не отвечали, а потом наконец-то взяли трубку и сказали, что изменений в расписании на Смоленск не предвидится. Я немного успокоился. Тем более в первые дни репродуктор бубнил что-то тревожное, но бравое и почти не упоминал захваченные врагом города. Я отправил домой письмо, что приезжаю, как и обещал, в середине июля. Однако, когда спохватился и позвонил еще раз, спустя десять дней, направление уже закрыли. Жестяной рас-
труб прогремел, что идет битва за Смоленск, и я вдруг понял, что надо было бежать раньше во что бы то ни стало, а сейчас – уже опоздал. Тем не менее, собрав чемодан, я бросился вон из Парижа к «двушке», мимо остроконечных башен, гипсовых девочек с книгой и казарм с растерянными лицами в окнах.

Полупустой трамвай ковылял, раскачиваясь, мимо заводоуправления, больницы и лабазов. Город замедлился, люди перемещались, будто подвешенные к небу за веревочки. Пока вагон ехал, я начал просчитывать варианты. Что теперь с отцом, вредно даже воображать. Остальных могли эвакуировать из Ярцева, а могли и оставить. Куда теперь бежать, чтобы их искать, было решительно непонятно. Хорошо, а я? Воевать? Но кого защищать – эту власть? Сейчас я желал самого страшного ей и ее жрецам. Вспомнился Воскобойник. С другой стороны, с запада неслась нечисть. Если даже нам ввали о том, какие звери эти фашисты, все равно их войска захватывали, убивали, сжигали, и кто-то должен был защищать от них мать и девочек. Толя, надо думать, уже пошел в военкомат. Прикрыв глаза, я вообразил наш дом и свою комнату, мальчика с собакой, стоявшего у форточки. Мальчик обернулся и посмотрел на меня.

Однажды на каникулах отец взял меня тушить пожар. Лето было сухим, пахло дымом, и все ждали стены пламени. Лесник велел созвать всех взрослых мужчин. Мы выкопали траншею, на которой предстояло встретить огонь. Дым скрывал все, что происходило вокруг. Загонщики встали цепью, и лесник вдруг раздал факелы из тряпок, смоченных бензином. Раздался треск, будто навстречу бежали звери, клубы сгустились, в дальних кронах мелькнули рыжие сполохи. «Поджигай!» – крикнул лесник, и мы пустили огонь навстречу. Пламя успело заняться, встать стеной и поползти к встречному пожару. Наткнувшись друг на друга, обе стены упали и исчезли, оставив лишь дым. Мы бросились заливать блуждающие по земле языки огня. Лесник, закопченный и облепленный паутиной, потом объяснял, как одна стена врезается в другую и между ними не остается кислорода, и гореть уже нечему. Теперь я подумал, что эта война – такой же пожар.

Трамвай перебирался через мост над маслянистой как нефть Тьмакой, и я уже знал, как поступлю. Топографы попадали под бронь, то есть воевать меня бы не призвали, но при этом всюду говорили, что, если кто-то добровольно хочет сейчас же зачислиться в армию, не взять его не могут. Судя по тому, как быстро границы фронта наплывали на Москву, водный трест скоро должны были вывезти куда-то далеко. Я решил, что если запишусь добровольцем, то,

во-первых, меня навсегда перестанут держать в списках возможных предателей как сына врага народа, а во-вторых, я, конечно, не смогу распоряжаться собой, но все же у меня, как у военного топографа, будет больше возможностей ходить в отпуск и через полевые связи искать своих несчастных родных.

Слева мелькнула краснокирпичная школа, и вагон приблизился к площади, где каменный истукан шагнул куда-то со свернутой газетой в руке. Я стащил чемодан на остановке и пошел к военкомату. Затем бродил полчаса по кварталу, ища вывеску или хотя бы очередь таких же записывающихся, как я. Нет, в одноэтажных каменных особняках даже не горел свет, ни одна дверь не была открыта. Заметив прячущуюся во дворах церковь, я решил справиться там. У двери в притвор висела вывеска с надписью «Осоавиахим». Наверное, он был пророком, этот Осоавиахим. Авраам, Мельхиседек, Мафусаил и он. На стук вышел сторож и подсказал, куда идти.

В военкомат входили со двора. Очереди не было, впрочем, и с этой стороны, и во всем здании дежурили два офицера. Всех обязанных они отправили на фронт две недели назад и теперь придирались и грозили, что медкомиссия всегда найдет, за что меня завернуть. Потом начали хвалить: мол, таких, как ты, очень мало, кто по своему желанию, и уговаривали, уговаривали, расписывали преимущества брони, напирали на то, что гидротехников и так не хватает. В конце концов явился пожилой подполковник и сказал: «Не волнуйся, война догонит». Едва удержавшись, чтобы не ответить «Меня уже догнала», я сказал: «Не хочу. Я ненавижу их всех. Я хочу защищать своих». Подполковник открыл рот, чтобы возразить, но увидел, что я превратился в камень, и положил передо мной чистый лист.

II

Все началось с того, что замерзли ноги. Почти сразу, едва мы выкатились белой волной в лес и прошли первые километры сквозь сосны. Ночью поезд замедлил ход в Черном Доре, раздался короткий крик – и на полустанок спрыгнули сотни человек в маскхалатах и направились в разные стороны. Все получили широкие лыжи с петлями и низкие ботинки, в которые набивался снег. Если бы я знал, что нам не выдадут гамашы, то сшил бы их сам. Даже на долгих переходах, когда мы разгонялись на целинном твердом насте и не проваливались, ступни все равно превращались в два ледяных бруска. Костров мы не жгли, чтобы не быть обнаруженными, а приходя к месту ночевки – вернее, дневки; передвигались только в темноте, – надевали валенки, рубили лапник, расстилали плащ-палатки и падали спать в обнимку друг с другом и с ботинками за пазухой, чтобы хоть как-то согреть их задубелую кожу.

Застыли ветви, птицы, камни, все стало мертвым той зимой. Шел седьмой месяц войны, батальон огибал озеро, чтобы пройти в тыл противнику сквозь болота. Немцы оставили полосу в двести километров трясин и топей незащищенной, видимо, думая, что глупо тем, кто только что оборонял свой главный город и заставил их остановиться, устраивать многокилометровый переход к врагу за спину на самом глухом и неважном направлении, которое даже формально было трудно отнести к тому или иному фронту. Но тем не менее нас доставили сюда. У каждого были автомат, валенки, каска, штык-нож, смена белья и паек на пять дней. Горбатые от торчащих под маскхалатами мешков и автоматов, впрягшись по двое в волокуши, мы тащили минометы, пулеметы и коробки боеприпасов. Сначала мы пробирались через сосновые боры, за которыми иногда показывалась равнина озера, а затем началось редколесье. Через болота на запад шла единственная твердая дорога, и по ней продвигались стрелки и танки. Там все-таки нашлись кое-какие немецкие части, но после первого же боя они рассеялись. Где-то далеко их армия будто по линейке прочертила линию укреплений и поставила у нее свои дивизии. Поэтому мы перемещались в тишине и лишь однажды слышали далекий гром канонады. Когда мы одолели половину пути, командир объявил: группа должна достигнуть города Холм с дру-

гими лыжными батальонами, пока противник не успел переправить на плацдарм новые силы и закрепить его за собой.

До того декабря я проводил все свое время среди механизмов, фонарей, машин, приборов, в кварталах, более-менее расчерченных проектировщиком. Теперь же мы катились среди нескончаемого белого, раздвигая палками сухие травы и отворачиваясь от ветра. Каждый стал сгорбленным уставшим зверем. На болотах все чаще встречался прозрачный лед с застывшими под ним космами трясины, и изгнать холод из тела было невозможно. Чтобы ужиться с ним, заговорить как боль, был один способ – каждую секунду действовать: натирать лыжи, устраивать ночлег, проситься в разведку, лепить снежную стену от ветра. Даже если не требовалась рекогносцировка, я уходил переносить на карту «изменившуюся ситуацию» – так это называлось. Из-за очень старых километровок, редко угадывавших, что нам предстояло увидеть, приходилось рисовать планы заново. Отойдя от стоянки как можно дальше, я вслушивался. Болота молчали, редкие деревни мы обходили, никакие существа нам не попадались, только следы птиц да несколько раз волчьи. Ожидание войны выдуло жизнь из синевы и леса, чья громада шевелилась перед нами как клочок травы, когда мы строились, чтобы продолжить путь в сумерках. Оставшись один, я ложился в снег и смотрел, как по черному небу надо мной плывут мама, отец, Оля, Маргариточка, Анатолий. Это было последнее время, когда я думал о них постоянно. Облака быстро сносил ветер.

Калининскую нашу часть приписали к десантным войскам и расквартировали на левом берегу Волги. Сначала часто менялись офицеры, потом из группы таких же, как я, добровольцев стали забирать самых рослых, сильных и удачливых в стрельбе. К осени нас перевели в лыжников и привезли под Москву. Курсантов изолировали ото всех новостей, и когда я попробовал узнать хоть что-нибудь про Ярцево, то понял лишь, что город был несколько месяцев в осаде и фабрику не успели эвакуировать. Это значило, что мои ушли с беженцами или остались под немцами. За столь долгое время город наверняка разбомбили, не оставив живого места, но нашу глухую окраину могли и пощадить. Навести справки было негде. В середине октября роту подняли по тревоге. Замполит сказал, что бои уже совсем близко, и мы сели на вещмешки и стали ждать грузовиков, но грузовики отчего-то не приехали, а потом переброску отменили.

Радио рапортовало, что немцы отодвинуты от Москвы. Ходили слухи, что грядет парад с вождем на трибуне и самолетами, и нас должны были везти на репетицию этого парада, но тоже почему-то не повезли. Батальон все чаще загоняли при полной выкладке на крутые склоны. Однажды привезли на Ленинские горы, откуда была видна вся Москва, притихшая, с застывшим над трубами дымом. На привале я достал бинокль. Над задрапированными домами как снулые рыбы плавали аэростаты. Город огибала безжизненная река. В тот день я нетвердо воткнул сомкнутые палки в снег, сорвался на траверсе и вывихнул ногу, а когда вернулся из санчасти, батальону объявили о включении в ударную армию и переброске к местам боев.

Вместо пяти дней мы петляли между пустошами и продирались сквозь подлески уже неделю. Пайки кончались, и после учебного лагеря с его скудной, но хотя бы горячей едой все страдали от изжоги. Впрочем, в лагере нам доставалось крайне мало еды, даже когда заурядную учебку превратили в курсы лейтенантов. Вокруг жаловались, что на передовой порции больше, и поэтому многие рвались туда. Мало кто понимал, что с полевой кухней все было в порядке только у частей, воевавших у неподвижной или хотя бы медленнодвигающейся линии фронта – причем там, где есть какие-никакие дороги. А там, где случалось бездорожье или беспутье, провиант задерживался, пропадал и тонул. Наконец мы подобрались к Холму и, не доходя нескольких километров до окраины, получили приказ обогнуть его с востока. Оказалось, партизаны неожиданно напали на немцев и захватили некоторые районы, а подоспевшие части замкнули вокруг Холма кольцо, отрезав противника от спешивших к нему на помощь танков. Мы оказались бесполезны, но командиры опасались, что, стремясь быстро вернуть себе Холм, черные немедленно начнут наступление по всему фронту, и приказали лыжникам рас-

средоточиться вдоль его линии – на десятки километров вдоль единственной в этом унылом краю твердой дороги, ведущей на север к Старой Руссе. Нас послали в Поддорье, чтобы объединить с полком, зазимовавшим чуть западнее этого села.

Когда мы добрались, рассвело. Среди стволов на розовеющем снегу взгибались белые холмы, похожие на погребальные курганы скифов. Это были землянки. В некоторые намело, печки стояли не везде, и поэтому нас определили в блиндажи, где топили. Пехота с осени вжалась в заболоченный ельник на краю болота, которое никто не пытался захватывать, потому что оно было непроходимо. С другого его берега точно так же лежали касками в мерзлую грязь немцы. В окопах стояла вода, превратившаяся в линзы льда. Более-менее сухая земля для землянок и блиндажей начиналась ближе к насыпной дороге, но все равно глубоко вкопаться не получалось нигде. Само шоссе, по чьим ухабам могли осторожно пробираться автомобили, несколько километров контролировала дивизия, затем следовал простреливаемый участок, где ездили только ночью в непогоду, и наконец дорога становилась линией фронта, такой же ничьей территорией. Из-за этих угрюмых обстоятельств полк, в который нас влили, снабжали кое-как и с перебоями.

Я бросил мешок, откинулся на полог и, разморенный накатившим впервые за долгое время жаром, заснул, но ненадолго. Меня кто-то тряс за плечо. Во тьме чиркнула зажигалка и осветила рябое лицо и погоны капитана. «Соловьев, сдавайте оружие, и идем». Видя мое замешательство, он добавил: «В штаб». Я сунул ему автомат, и мы зашагали по твердо набитой и широкой, как тротуар, тропе. Велижев – так звали капитана – объяснил, что топографа ждали давно, карты ни к черту и командир полка послал его, помощника начштаба, как можно скорее разыскать специалиста. Вокруг трубы, торчащей из земли, струился жидкий дым. Землянки здесь вырыли насыпные и замаскировали дерном. Как жить на таких позициях весной, было неясно. Велижева передернуло от вопроса: «Что весна-то? Снег разбросал, окопался кое-как, ну, воду вычерпал. А вот в конце мая вылетает мошка и никакого Гитлера не надо, просто полежи в окопе час. Она тебя так съест, что кровь на глаза будет литься, успевай только вытирать».

Круглов сразу усадил меня за стол и пододвинул стакан с чаем. Его блиндаж выложили сосновыми бревнами в пять накатов. Комнаты выглядели точно картинки из учебника военного дела: карты на столах, скамьи для комбатов и взводных, линейки, карандаши, циркули, резинки, выметенный пол, запах свечного пригара. Вспомнились тени вышегорской церкви и бормотание кафизм. На стенах висели плакаты красных светочей, зодчих, рулевых и агитация «Победа коммунизма неизбежна». Рядом стояли книги, разглядеть которые я не успел, потому что Круглов намеревался не затягивать разговор. «Соловьев, – сказал он. – Не буду вас долго муржить. Здесь – болота. Южнее, севернее и западнее наших позиций тоже болота – на много кэмэ. Самое большое болото рассекается речками, которые до сих пор не замерзли. Поэтому там нет ни фашистов, ни нас, и пока это так, меня интересует остальная местность. Карты у нас сами знаете какие...» Я закивал, давая понять, что уже знаю. «С вашим появлением в полку я ожидаю, что карты будут исправлены. Стечев, заместитель по разведке, вас проинструктирует, какие участки нам важны в первую очередь. Докладывать будете ему. В отдельных случаях – отчитываться начальнику штаба. В совсем уж крайних – мне, но лучше бы такого не случилось. Поняли?» Несмотря на месяцы, проведенные в учебном лагере, я не научился держать себя в руках и остановил взгляд на книгах. Кажется, там мелькнул Кант. Комполка не заметил и окончил разговор обещанием дать ассистентов и выписать прибор и инструменты.

К вечеру задул сырой, чуть теплый ветер. Велижев привел меня к блиндажу главного разведчика. Тот вышел с папиросой, протянул мне руку, посмотрел и вздохнул. Мы сели на корточки на вытоптанной площадке и прислонились к сосне. «Еще и не куришь, – сказал он и достал из-за пазухи два листа. – Это немецкая». Я впился в карту: цвета они использовали чуть другие, желтый гуще, ближе к охре, рельеф наносили очень детально даже для километровки,

а вот породы и высота деревьев их не волновали. Стечев показал еще несколько разрозненных листов, а затем вынул советскую километровку и прижал палец к озерцу: «Вот этого нет. Мы подошли, а там густой ельник, причем деревья в несколько человеческих ростов. Если бы озеро обмелело, оно превратилось бы в болото. А так... Не знаю, лейтенант, как так вышло, но у нас карты говно, а у них нет». Мы поразглядывали листы еще немного, и он произнес с мягким южным выговором: «У меня есть, конечно, объяснение. Вот летали самолеты из Москвы в Германию. Кто его знает, какая у них начинка, что у них там в фюзеляже спрятано и какой дорогой каждый из них до границы добирается. Вылетел, летит... А может, он посреди дороги петлю заложил на северо-запад, и пролетел над Рдеей, и все сфотографировал, а потом фьют в Берлин. Там твои братья-геодезисты расшифровали, и на тебе, точная карта готова». «Над чем пролетел?» – уточнил я. «Рдея, – повторил Стечев. – Эти края называются Рдея. И болото здешнее – бывшее Рдейское озеро. Там беглые жили всегда, и сейчас, кажется, живут, не успели сбежать. Рельефа здесь мало, только у Ловати и Полисти кое-где крутые берега, а так равнина. Прятаться некуда». Стечев вновь вздохнул, он казался крайне уставшим. Я объяснил, что аэро-съемка еще не настолько совершенна, чтобы, паря в небесах над чужой страной, кто-то смог ее снять и сделать из этого материала километровку. В конце концов мы расстались на том, что он пришлет бойцов, которые будут мне помогать.

Вернувшись к блиндажу, я забрал вещмешок и лыжи, и Велижев показал мне землянку, предназначенную для топографа и его ассистентов. Не так уж далеко начали бухать взрывы, звук был тугой, притупленный. Ни одна ветка в лесу, впрочем, не дрогнула. Велижев пустился в разъяснения, что передовую обстреливают, когда вздумается, то по утрам, то ночью, то вообще раз в три дня, и если сначала они искали какую-то систему, то с тех пор, как фронт встал и приказа двигаться не поступало, плюнули на это дело. Я спустился в склеп. Стены его покрывала изморозь, настил был сколочен из горбатых досок, а у печки с погнутой дверцей кто-то оставил на листе железа немного сосновых чурбачков. Огонь разгорался медленно, и, глядя на первый пепел, я согрелся, отодвинулся, закрыл глаза в одиночестве и только тогда принял новый мир, в котором придется жить.

Близнецы явились в сумерках, и я не сразу понял, как отличать одного от другого. Звали их Костя и Полуект. Родились они на Белом море, в тамошних деревнях всем давали диковинные имена. Например, их тетку называли Африканидой, а дед был наречен Христофором. У Кости алел шрам через щеку от драки за сестру, на которую претендовали инспектор райотдела и капитан карбаса. Он был огромен, но неповоротлив, возился с лошадьми и санями и не слишком радовался тому, что его изъезжали для нужд топосъемки. Полуект служил в пехоте и также оказался гороподобен. Я выпросил у близнецов, знают ли они хоть что-нибудь о съемке, и убедился, что нет, не знают. Поскольку они были несловоохотливы и производили впечатление людей деятельных, я решил не просить других помощников. Мне выдали наган, а близнецы имели по винтовке – вот и все вооружение нашего маленького воинства.

Первые дни близнецы смотрели на меня как на существо, сошедшее с небес. Шинель у меня была свежая и непромерзшая, сухая, а маскхалат почти что отутюженный. И главное, по мне никто не ползал. Однако я быстро растерял принесенное с собой благополучие. Вши переживали холод, и, когда я выносил вещи на мороз и закапывал в снег – они все равно оживали и продолжали свой путь из подкладки до проймы, далее по спине и к подмышкам. Жар от свечи, которую проносили под швами, рискуя подпалить ткань, их также не пугал. Вшей было столько, что иногда казалось, воротник шевелится, и, когда я стряхивал с него полчища, их колония продолжала жить и размножаться, будто ничего не случилось и десятки товарищей не сорвались вниз. Пока насыпную дорогу контролировали красные, рота за ротой раз в месяц уходила на сутки в тыл, залезали в палатку-баню и мылись. Тем временем их белье и одежду жарили на противне. Спать они ложились на застеленную кровать, проглотив сто грамм водки, и наутро их не будили, потому что знали, что вши возвращаются быстро – в следующую же

ночь на позициях люди ощутят кожей их прибытие и в первую минуту понадеются, как с зубной болью, что оно лишь померещилось, но потом прислушаются к нервным сигналам и смирятся: оно, опять. А потом линия фронта и вовсе дрогнула, к тому же началась распутица, перебои с пищей, не то что с мытьем, вонь и голод. Штабные грызли галеты и разводили гороховый суп-концентрат. Пехота ловила тюки с провизией, которыми немецкие пилоты промахивались мимо своих позиций, – обычно там находили консервы, но я слышал и божбу связиста, что под Новый год их рота поймала ящик мозельского. Санчасть силой поила всех противощинготным отваром: хвоя ужасно горчила и сжимала горло так, что несколько минут трудно было говорить. Многих шатало от голода, часовые теряли сознание, хотя комбаты перед строем грозили за это расстрелом. За сухостоем приходилось пробираться глубоко в тыл, и все равно дров не хватало. Холод вновь поселился в теле. И все-таки это было благоденствие.

Не успели мы с близнецами обжиться, как началась многочасовая метель. Секло мелко, монотонно и угрюмо. Все утро пришлось откапываться саперными лопатами и очищать дорожки к тропе, поляне-столовой и штабу. Ничего уже не было видно на расстоянии десяти метров и метель сменила пурга, когда в белом хаосе замаячил силуэт. К нам вынесло Велижева. Его послал комполка – пользуясь погодой, он инспектировал передовую и звал топографа ознакомиться с обстановкой. Я надел лыжи и пошел за Велижевым. Через километр деревья стали нагибаться все ниже, сосенки истончались, и вскоре остались одни кривые березы, не выше того казака с пикой, сидящего на коне. Передовая приближалась. Я ожидал увидеть ничемное искореженное оружие, воронки от взрывов, и под сердцем заныло чувство приближения к смерти: прямо сейчас из-за стены снега могут вылететь невидимые глазу железяки и впиться мне в тело, оставив бурые пятна на рубаше, или, попав в артерию, окрасить маскхалат праздничным красным. Еще я боялся резких оглушительных звуков: свиста мин, завывания снарядов, их разрывов – всего, что кромсало барабанную перепонку. Но ничего не менялось, занесенная лыжня вела сквозь ничем не нарушаемую тишину, пока не спустилась незаметно в канаву. Мы оставили лыжи и пошли, хромая и подламывая ступни, спотыкаясь об запорошенные комья грязи. Перед морозами здесь удалось возвести валы из грязи, выкопать неглубокие окопы и устроить на редких островках тверди минометные дзоты.

Наконец мы вышли к передней линии рвов. Слева и справа в нишах сидели бойцы, закутавшиеся в тряпье, некоторые курили среди разбросанных консервных банок, умудряясь держать самокрутку рукой в варежке. Кое-где валялись гильзы, воняло отхожее место. При ясной погоде пищу сюда таскали раз в день в термосах. Противник давно разгадал маневр и иногда накрывал крадущихся интендантов, и в такие окаянные дни передовая, без того голодная и замерзшая, оставалась без горячего и пряталась от ветра, молясь, чтобы дожить до следующей попытки. Комполка тем временем завершил смотр. Замполит роты, стоящей на позиции, подскочил к Велижеву, что-то зашептал ему на ухо и показал, где сейчас Круглов. Мы двинулись влево мимо ниш со стрелками, обошли пулеметчиков – обычно расчет спал на плащ-палатке, а у бруствера бодрствовал кто-то один – и наконец услышали кругловский голос. Снегопад кончился, и я выглянул за край окопа, холодея от того, что сейчас увижу их, в серо-зеленых шинелях, или хотя бы их выглядывающие пушки. Но там белело такое же болото, какое я видел в последние недели, а за краем его ощерился мелкозубый лес, вдающийся в топь косами. Никаких немцев не было. Сугробы скрыли следы сражений, и все, что оставалось на поле, упокоилось в застывшей трясине между красными и черными.

Заметив, что Круглов стоит один, я козырнул, и начал отчитываться об особенностях местности и тонкостях съемки, и наконец съехал на то, что инструмент нужен быстрее, чтобы успеть как можно больше до весны. Круглов слушал вполуха. «Ладно, лейтенант, что просили, то достанем, – сказал он. – Обстановку доложите потом. Вам повезло – сейчас будет радиопередача. Любите приемник слушать?» Я заметил стоящий за ним у бруствера аппарат, похожий на граммофон, только с прямоугольным и широким, как у репродуктора, растробом. «Нет, –

ухмыльнулся Круглов. – Сначала чужим голосам внемлем». Офицеры, среди которых я заметил разведчика, поглядели на часы. Спустя минуту над равниной пронесся громкий скрежет и рычание, будто кто-то боролся с иглой патефона, и с позиций противника донесся не слишком громкий, но внятный голос без акцента: «Братья! В годы революции и гражданской войны большевиками было убито два миллиона мирных жителей. За годы голода и эпидемий умерло четырнадцать миллионов человек. В лагерях принудительных работ погибло десять миллионов человек. Еще не прошел год войны, а миллионы уже убиты и искалечены. Двенадцать миллионов русских уже спаслись от еврейско-большевистского уничтожения путем сдачи или перехода в плен. Братья, спасайтесь, прежде чем будет поздно!»

Раздался гулкий скрежет, и вдруг над болотом понеслась «Лили Марлен». Круглов обернулся к офицеру, который привалился к стене окопа и потирал щеки. «Заводи шарманку, Нейман, – приказал он. – Ебнем краснознаменной пропагандой». Нейман вяло встал, запустил руку в агитмашину и клацнул тумблером. Из раструба затикало так громко, будто кто-то поместил внутрь циклопические часы, а потом скорбный голос произнес по-немецки: «Каждые семь секунд на фронте погибает один немецкий солдат». Часы опять затикали, и через каждые семь секунд фраза повторялась раз разом.

Круглов прильнул к краю окопа и слушал. Наконец наклонился к нам и заорал, перекрывая стрекот агитмашины: «Вот русский человек – хоть ему революция и открыла глаза, а как почтенно относится ко всему, что сказано. Уважает грамотное слово! Услышит – и верит. Даже если хитрец. Не просто так же рассказывают – ну врут, конечно, но нет же дыма без огня, не может же все подряд быть враньем!» Тут машина сделала паузу, видимо, Нейман ее перезаряжал. Со стороны немцев донеслись крики, обращенные явно к противнику. Стечев поднял палец вверх и вслушался. В тишине сразу несколько голосов отчетливо проорали: «Давай, Катюша!» «Что?» – изумился Круглов. «Они любят „Катюшу“, – пояснил разведчик. – Как и наши – „Лили Марлен“».

Раздался хлопок и приближающийся визг, и все пригнулись. Что-то летело к краю окопа. Я сжался, и в тот момент, когда визг стих и показалось, что снаряд или пуля пролетели мимо, земля подпрыгнула и раздался тугой удар – настолько громкий, что левое ухо забилося ватой, а в правом, когда я попытался что-то произнести, слова отозвались очень далеко, точно я сидел в колодце. Круглов же стоял рядом, привалившись к стенке окопа, и рассматривал кусок бумаги, напоминающей оберточную. Еле держась на подгибающихся ногах, я заглянул в листовку. «Борьба бесполезна! Ваше положение безнадежно. Разве это допустимо, чтобы ваше начальство беспощадно гнало вас на смерть? Коммунистическая идея провалилась, и большевики вас просто дурачат. Переходите к немцам!» Круглов скомкал листовку. «Вообще, я запрещаю их брать, – пробормотал он. – Политруки следят, но, честно говоря, сквозь пальцы – когда нет бумаги козью ножку свернуть, как запретишь сигарки из этого крутить? Ну что, Соловьев, это была еще так себе передача. По вечерам получше крутят по настоящему радио, пойдем послушаем». Я кивнул. «Хуево выглядишь, лейтенант», – приблизив лицо, сказал он.

Всю дорогу до штабного блиндажа я тер уши, но это не помогало. В блиндаже радист включил приемник и доложил, что передача началась, как всегда, с исполнения «Интернационала». В динамике говорил мужчина с особым *pronunciation*, вдумчивыми паузами и неподдельной ответственностью в голосе.

– *Продолжаем переключку ленинских радиостанций на фронтах и в тылу. Начинаем с Ленинграда. Товарищи ленинградцы, алло, алло! Настраивайтесь на нашу волну!*

– *Алло, алло! Гэвоят ленинградские ленинцы! Говорят ленинцы Северного фронта.*

– *Алло, алло! Московские ленинцы, настраивайтесь на нашу волну.*

– *Алло, алло! Говорят ленинцы московской организации!*

– *Алло, алло! Ленинцы Юго-Западного фронта, вы нас слышите?*

– Алло, алло! Говорит Киев, говорят ленинцы Юго-Западного фронта.
– Алло, алло, ленинцы Кавказа!
– Алло, алло! Говорят ленинцы Тбилиси! Говорят ленинцы Кавказа, мы вас слышим.
– Товарищи, прежде чем перейти к изложению положения на фронте, мы должны передать инструкцию нашим «группам С» в Ленинграде, Москве, Батуми, Севастополе, Краснодаре, Ростове, Новороссийске, Одессе. Решения от первого ноября сего года должны быть выполнены в этих городах в подходящее время, особенно во время германских бомбардировок. Действуйте осторожно. А теперь краткий отчет о положении на фронте. В Ленинграде огромная скученность. Фашисты бомбардируют население. В городе нет хлеба, теплой одежды, нет достаточного количества мест, где население могло бы укрыться от бомбардировок. Распространяются эпидемии. Люди мрут как мухи. Дезертиры грабят продовольственные магазины. Ленинград стоит перед катастрофой. Учащаются случаи мятежа в казармах. Ленинград горит в различных местах. Женские пожарные команды не могут спасти город. Ленинграду, этому славному городу Ленина, грозит участь Варшавы и других городов от фашистских бандитов. Все это предстоит пережить городу благодаря преступной политике Сталина. Москве предстоит затем участь Ленинграда. Положение чрезвычайно серьезно. На центральном участке Западного фронта наши войска отступают. На Южном фронте вражеские силы продолжают свое наступление. Мы, старые большевики-ленинцы, не боимся правды и не хотим скрывать ее от народа, ибо мы знаем, что эта война бессмысленна и преступна, так как германская армия более сильна и лучше вооружена, чем наша. Наш флот не может нам также помочь. Поэтому не безумием разве является продолжение войны? Фашисты утверждают, что они взяли в плен полтора миллиона и что три с половиной миллиона человек погибли на фронте.

Из тайных донесений мы знаем, что эти цифры правильные, и несмотря на это, Сталин продолжает свою преступную войну. Близится день, когда мы позовем вас на решительный бой. Право есть сила. Идите лучше в плен, чем бессмысленно жертвовать своей жизнью. Долой Сталина! Временное ленинское политбюро Компартии Советского Союза.

Дальше вновь заиграл «Интернационал». Комполка встал, выключил приемник и жестом пригласил за стол. Денщик внес самовар, кружки и алюминиевую миску с галетами. Круглов молча рвал пустой спичечный коробок.

– Вы член партии? – спросил он меня наконец.

– Нет.

– Тогда и вы не поймете. Коммунизм неизбежен. Народы придут к тому, что единственное справедливое устройство общества – это общество равных. Русского человека мы уже двадцать лет переделываем, а европейские страны погрязли в неравенстве. Империалисты-колонизаторы примут истину, лишь когда увидят нашу мощь.

– Я вижу немного другое, – сказал я, подбирая слова, так как не был уверен, что он не вытащит пистолет. – Какое равенство мы можем им предъявить как образец – равенство в бедности и давлении на бесправного? Никакого другого равенства нет – я видел, как живут следователи, я знаю о привилегиях начальства партии...

– Вы правы, гнили много, – перебил Круглов, – и не вся она вычищена. Вы мне нравитесь, редко встретишь прямо мыслящего человека, таких коммунистов не хватает. Когда все это кончится, я дам вам характеристику, хоть вы и позеленели от агитснаряда. Мы на пути, Соловьев. На долгом, длинном пути, но конец его предрешен. По-другому быть не может. Это аксиома, и я верю в нее, я старый коммунист. Русские долго шли к этой идее, она пустила корни в нашем сознании. Не может быть никакой собственности, все даровано богом, даже помещик и фабрикант не владеют ничем, а так, взяли попользоваться, и горе им, если подумают, что это их. Только у нас вместо бога – рабочий народ, вот и все.

– Подождите, а хозяин – что, не рабочий человек? Я знаю, вам это не понравится, но когда Столыпин выпихнул крестьян в самостоятельную хозяйскую жизнь, многие сразу поняли, что их дело – собственное. И за свое они горой были готовы стоять и работали по-другому.

– А вот это индивидуализм, – засмеялся Круглов. – Нет никакого «своего». Еще Ленин говорил, что ваш Столыпин опоздал лет на сто, а то и двести. Голыми придем в мир, голыми уйдем – не должен новый человек к старому порядку привязываться, как и к земле, скарбу, дому. Все общее, в любую минуту готов хоть один, хоть с семьей пойти, куда воля народная пошлет. Европейцы пока этому сопротивляются, ушли с пути к коммунизму, натерпелись от Гитлера и теперь смотрят, как мы с ним воюем. Для них это как две змеи сцепились, одна другую кусает и ядом травит, а другая ее душит, – но когда война кончится, они не отвернутся от нашей правоты.

– Вы рассуждаете как религиозник, – произнес я, растирая глуховатое ухо. – Только у вас вместо пришествия Христа – всемирный коммунизм, который наступит обязательно и ничто его не отменит.

– Вы, Соловьев, хоть и прямой человек, но в душе не коммунист. Поэтому и видите только то, что у вас под ногами, а вдаль взглянуть не можете. Один лист своей карты можете рассмотреть, а весь глобус – нет. А я не слепой и вижу все: и что воруют прямо здесь, на фронте, у товарищей, и что своей выгоды ищут, и что многим все равно, социализм ли или еще что-нибудь, сдери с них форму, надень царскую или французскую – те же люди будут. Вижу, каких политруков присылают – безграмотных. Я, кадровый военный, старый коммунист, не могу их слушать. Под агитацией у них ничего нет. Чего удивляться, что у солдат три темы для разговора: смерть – как у них там что оторвет, – бабы и пожрать. Офицерский состав плохо обучен и руководить не умеет, может только орать «В атаку!». И это еще фронт стоит. А если наступление, если перестроиться, если сложный маневр? Многие побегут – одни в лес, другие в плен. Чего вы ежитесь, я то же самое говорю им в лицо. Когда пятый месяц лежишь рожей в грязь, не боишься прямоты. Это генералов тасуют – на одну армию, на другую – а полковник, да еще в гнилом отдаленном углу... Где начал воевать, там и кончил. Я вам скажу, почему вера моя крепка: потому что у истории железная логика. Рабовладельцев сменили порабитители, царей – парламенты. Следующая ступенечка – всеобщее равенство, свободное от мерзавцев, плюс партия, проводник истинных интересов нового человека.

Стало понятно, что Круглова прошибить невозможно, но при этом ужасно не хотелось уходить из натопленного блиндажа от самовара и сушек. То ли от жары, то ли от первого за долгие месяцы умного разговора я пустился в откровения.

– Вы, кажется, не сознаете проблемы с этим новым человеком. Он не знает, что такое сострадание, сопереживание, внимание к ближнему своему, стремление понять хотя бы своего соседа и облегчить ему жизнь хоть чем-то. Нет у партии цели так гражданина воспитать. Сочувствия страшно не хватает, а вовсе не мировой гегемонии. После того как брат с братом воевал, а граждане с правами у неправых зерно отнимали – после этого залечить раны надо, они сами собой не затянутся. А у вас кругом враги: вычистили одних, подавай следующих – строить, сеять, жать и сражаться за коммунистов всей Земли. Это утопия. С такими же, кстати, утопистами воюем, только у них вместо пролетариата – арийская раса.

Круглов смотрел на меня сквозь папиросный дым. Он явно жалел, что затеял этот разговор. Я живо представил себя и его в кабинете, где подозреваемым загоняют булавы под ногти. Однако комполка решил, что я все-таки откровенный идиот, а не провокатор.

Тем более с рекогносцировкой в полку была беда, и ему проще было изобразить, что он воспитывает меня, чем арестовывать и ждать нового топографа.

– Потом, Соловьев, – вздохнул он, – потом сострадание и умиротворение. Опять хотите всего сразу. Пока мы окружены, надо беспощадно выявлять предателей. Помните, как казалось, что пора умиротвориться? Даже товарищ Сталин поверил и выступил, что жить стало

веселее и надо вожжи приотпустить. И что мы получили? Наросла контрреволюция! Изолировать тех, кто по жизни при царе тоскует, – необходимость. Как и случайных, разочаровавшихся коммунистов – такие разлагают партию. Без очищения не создашь нового человека. Когда нет гнета своих желаний и воля следует за партийными нуждами – только тогда можно достичь настоящей свободы. Всегда будут отщепенцы и патологические эгоисты, но в целом, лейтенант, от прогресса не сбежишь. Потому и умирать не страшно, и драться до конца будем. За будущее человека воюем...

Вскоре с обозом приехали запрошенные мной мензула, штатив, рейки, планшет, краски, кисти, тушь, кривоножка и даже блокноты для абрисов. Где-то с неделю мы снимали участки недалеко от ближайшей деревни, Белебелки. Лошади вязли в снегу. Близнецы сплели лямки, похожие на сбруи, и скользили на лыжах, закинув на спины деревянные ящики, где покоились в ложементах приборы. От них, в общем, и не требовалось большего – разве что стоять, сменяя друг друга, если замерзли, и держать рейку, пока я двигался от пикета к пикету и правил план прямо на столике. После возвращения я брел в блиндаж к разведчикам, дорабатывал карандашный набросок красками и отдавал им готовую карту. Оставался лишь один участок.

Потеплело, снег стал утаптываться ударом подошвы, и запахло хвоей. Лыжная мазь давно кончилась, поэтому мы вышли затемно и покатались медленно, с руганью. Болото, схожее очертаниями с запятой, мы разыскали быстро – оно не слишком отличалось от того, что картограф нарисовал тридцать лет назад. Расставив братьев с рейками, я настраивал мензулу, вдыхал воздух марта и крутил регулировочный винт, когда сразу с нескольких сторон ударил и разошелся оглушающими раскатами гром. Спустя секунды тишины где-то близко, за перелеском, взорвались снаряды и встала на дыбы земля. Костя и Полуект бежали ко мне, проваливаясь и падая.

Не слыша их криков, я нагнулся к ящикам и зачем-то стал протирать не успевшие вымокнуть инструменты.

На минуту рухнуло затишье, а потом орудия начали палить вразнобой, раздались выстрелы винтовок и тархтенье автоматов. Молчаливых близнецов прорвало и они матерились, как будто их рвало словами. Не представляя, что теперь делать, и трясясь, я сам наорал на них. Судя по карте, если бы мы хотели вернуться к своим, нам пришлось бы прорываться через бой. С дороги до Белебелки донесся тяжелый гул. «Танки их эти блядские! – кричал Костя. – Наши не так рычат!» В голове металась тысяча мыслей, поймать хотя бы некоторые и связать в цепь было невозможно. Наконец я решил прятаться до темноты в той части запятой, откуда просматривалась большая часть болота и уреза воды. Костя и Полуект вскинули ящики на спины, и под грохот и рычание я перешел вслед за оруженосцами на другой берег, обмирая от ужаса и ежесекундно ожидая, что какой-нибудь снаряд отклонится от траектории и прилетит в нас. Близнецы любили болтать о том, как кого убивает, и накануне обсуждали сержанта, разорванного взрывом на две части, между которыми ползла по снегу и не обрывалась длинная кишка. Тогда меня едва не вырвало гороховым концентратом, а сейчас в висках стучало одно: только бы не разорвало.

Привалившись к сосне, Костя допил чай из крышки термоса, налил еще и протянул мне. До заката оставалось два часа. Я взял крышку, и тут же что-то подняло меня вверх и бросило на землю, лишив слуха и забросав снегом. Очнувшись, я увидел двоящегося Полуекта, который обхватил меня как полено и беззвучно что-то втолковывал. Его лицо кружилось, будто мы ехали с ним на карусели. Земля подскочила и вздыбилась еще раз, и теперь я услышал тугой удар и отдаленный звук взрыва. И еще раз, и еще, уже в стороне. Удары слились в один огненный молот, который освещал оранжевым темноту, маячившую передо мной, и этот молот бил, бил по голове, заставляя скрючиваться зародышем в неглубокой ложбине, как в утробе матери. Подползший Костя помог брату поднять меня, стащить валенки, засунуть ступни в ботинки и завязать шнурки. Шатаясь и падая, когда бухало рядом, мы отходили всё дальше от берега. За

каким-то чертом они палили по нам, может, по кривой наводке или по докладу разведчика, принявшего фигуры в масках за роту, пробравшуюся в тыл. А может, по какой-то неведомой логике немцы накрывали квадрат за квадратом, и очередь дошла до нашей позиции. Казалось, что мы уже удалились от проклятого места, когда воздух разорвался совсем близко и к грому примешался страшный треск. Меня отбросило в сугроб, и я увидел кристаллы снега прямо у себя в глазах: прозрачные квадратики переливались и образовывали крупные зерна. Я поймал себя на том, что оставшимся, глядящим из дальнего угла кусочком сознания, напоминавшего темную комнату, я молюсь, чтобы не было еще одного снаряда. Сколько пришлось так пролежать, я не запомнил. Взрывы еще гремели, но уже в стороне, и земля не взметывалась вверх, а лишь толкала меня в живот. В себя я пришел от странного чувства, что в штанах очень горячо. Ощупав белье, я понял, что кал и моча покинули меня. Метрах в пятнадцати стояла расщепленная сосна, ее верхушка рухнула между мной и близнецами и кроной накрыла Полукта. Из-под веток торчала его палка. Оглохнув и подволакивая ногу в лыже, вторая отлетела, я приковывался к нему. Откуда-то возник Костя и стал вытаскивать брата из-под ветвей. Тот наконец пришел в сознание, схватился за голову, которую ударил довольно толстый сук, и запричитал: его щека была рассечена и кровоточила.

Чувство карты впервые в жизни оставило меня, и я не знал, где мы. Ориентироваться сил не было, а едва я вгляделся в план, как лес затанцевал с проселками, кружками кустарника и дефисами болота, и от этого зрелища голова закружилась так, что меня чуть не вывернуло. Я попросил близнецов дождаться паузы в канонаде и расслышать, где дорога. Посидев с минуту и отдышавшись, они поймали промежуток между залпами и услышали рык, напоминающий танковый. Один из ящиков треснул, но сами инструменты оказались целы. Вскинув поклажу на спины, пошатываясь и хватаясь за стволы, мы направились к дороге и изредка останавливались, чтобы понять, в верную ли сторону движемся. Вскоре гул исчез, скороговорка автоматов отдалась и раздавалась все реже. Серые облака были словно обшиты багровой каймой. Опускались сумерки, мы шли наугад.

Дорога появилась в низине, будто и не было никакой насыпи, и колеи ее змеились сквозь болота. Она оказалась пуста, по обочинам тянулись заросшие канавы. Стрельба отдалась и стихла. Подморозило, стволы деревьев еще отчетливо различались, и мерцал синий наст. Лыжи катились легче, хотя приходилось преодолевать следы танков, похожие на траншеи, и за первым же поворотом мы встретили его. Верхней своей частью скрючившись, а нижней выломав ноги, как убитый комар, лежал человек. Уставшее его лицо было того же зеленого оттенка, что и шинель, а под головой застыла черная лужа. Все еще оглохший и с гудящим в голове набатом, я медленно догадался, что это немец. Я часто воображал, как это случится, что увижу немца, он будет пленный летчик люфтваффе или пехотинец вермахта, или, может, начнется бой и навстречу по лесу, мелькая среди стволов, понесется волна квадратных подбородков, прозрачных глаз, хищных касок, – а теперь я склонился над ним, уставившись на славянское, неотличимое и по смерти своей даже принявшее выражение, одинаковое со многими моими однополчанами, лицо. Близнецы не решались подойти и обшарить карманы трупя. Меня передернуло, потому что на мгновение показалось, что в колее лежит мое тело, и я резко отвернулся, потому что среди всполохов и набата в мозгу мелькнул кусочек ярцевского лета, когда баба Фося, сидя у ветлы на берегу Вопи, говорила: не смотри на мертвых, а то, если разглядишь лицо, мертвый вселится. Она шила и дарила нам куклы без лица – не знаю, как на это смотрели строгие святые с ее икон. Я не хотел, чтобы немец вселился в меня, но не был уверен, что получилось избежать этого.

Чуть дальше по дороге темными грудями одежды лежали другие, несколько. Кто-то полз к краю и оставил смазанный след, кто-то лежал покойно на спине, сложив руки, будто хотел, чтобы его прямо так, бережно подняв, опустили в гроб и похоронили. Вскоре встретился и наш рядовой, завалившийся на бок и подтянувший ноги, словно заснул на нарах в теплушке.

Костя подхватил валявшуюся рядом винтовку, а я, с трудом ворочая мыслями, ставшими вдруг валунами, думал о том, сколько непогребенных останется, сколько их пропадет и останется лежать вот так, спихнутыми в канаву обозниками, какой же это, получается, хор отлетевших и повисших в непоминовении душ будет маячить над этими озерами, речками, сосновыми гривами, подо всей древесно-лиственной шерстью земли. Еще один поворот, и при последнем заклатном свете мы увидели танк. Резко пахло гарью и еще чем-то химическим. Из-под гусениц танка вытекало топливо, а сам он был покрыт сажей, как чугунок; над люком вился дым. Рядом валялись невысокие кучи жженных тряпок, и когда мы подъехали ближе, оказалось, что это превратившиеся в обугленные туши танкисты. Чуть дальше накренился и потерял гусеницу еще один сгоревший танк. Его экипаж, похоже, сбежал – посреди дороги лежало лишь одно тело. Кажется, мы забрели в царство мертвых, потеряли выход и спускались все глубже.

Я знал, что так поступать нельзя, но, будто бы схватив себя за затылок и ткнув в нужную сторону, заставил себя всмотреться во вдавленное, расплющенное тело в грязном маскхалате, у которого торчала, выломившись, рука, словно салютуя небу. Верхняя часть лица отсутствовала, вместо него я разглядел что-то влажное, а от нижней остался кусок челюсти с длинным, извивающимся, покоящимся едва ли не на животе языком. Меня все-таки вывернуло и долго рвало попеременно с кашлем так, что я едва не задохнулся. Близнецы отвернулись. Я сполз в канаву и, стараясь отдышаться, ждал, когда кончится последняя судорога. Затем поднялся сначала на колени, потом, опираясь на палки, на ноги и почувствовал, что слух вернулся, а набат переместился в затылок и глухо долбил там, как часы с боем в дальней комнате.

Со стороны передовой раздалось стрекотание то ли мотоциклетов, то ли танкеток. Царапаясь и получая пощечины от веток, мы побежали напролом, спотыкаясь и теряя палки, через ельник и спустя сто метров упали лицом в снег. Замерли и прислушались: по дороге катили более мелкие машины. Я достал карту и вернулся в нее. До землянок оставалось несколько километров, если пойти по тропам или подсесть свою утреннюю лыжню, но кто знает, чьи нам могут встретиться посты и вообще на чьей мы теперь территории. Я решил, что лучше медленно продираться в темноте по азимуту, чем рисковать. На одной из полян из ольшаника с криком выпрыгнуло животное с палкой. Пока я застыл по пояс в снегу, Костя стащил винтовку и наставил на него. Животное опустило палку и выматерилось. Это был рядовой из роты, которую подняли вместе со всем батальоном по тревоге и бросили удерживать дорогу. Левая его рука безвольно висела, так как в предплечье попала пуля. Мы перевязали его, как умели. Ротный успел сообщить им диспозицию: немцы атаковали дивизию от Поддоря до Холма по всей удерживаемой ею линии фронта, чтобы отвлечь обороняющихся от попытки танкового прорыва со стороны Локни к блокированному Холму. Но второй задачей черных было, очевидно, не просто запугать противника, а сдвинуть линию фронта ближе к Ловати и отрезать от насыпной дороги нас и соседние полки. Когда мы добрались до землянок, счастливо не встретив никаких засад, выяснилось, что у немцев все получилось и у дивизии осталось лишь пятнадцать километров дороги до Холма, а всю ее северную часть до самой Старой Руссы захватил соперник. По лесу бродили резервисты, которых не успели бросить в бой. В свете вышедшей луны их тени походили на сутулых испуганных ангелов, они выкликивали раненых.

Утром нас засыпал снег. Ветер бросал крупу в лицо полными горстями. Всех подняли затемно, чтобы мертвых не успело занести. Ныло все тело, от затылка до стертых ног. Убитых искали, бродя цепью по лесу, снимали сапоги и шинели, примеряли их, отойдя в сторону. Многие искали взглядом немцев – из их штыков получались удобные ножи, а в карманах лежали фонари, папиросы, зажигалки и другая мелочь, которую многие выгребали и разбирали уже в землянках. У своих же забирали документы, клали тела в плащ-палатки и несли к ожидающим мертвых подводам на проселке, вихляющем мимо бисера озер к Поддoryю. Тыловики готовили могилу – долбили землю, чтобы сберечь взрывчатку, ее оставалось немного, и складывали грунты в курганы. В те же плащи заворачивали винтовки, несли к костру и сваливали

на разложенный там брезент. Мне опять казалось, что пыхтящие интенданты несут к могиле не безымянное тело, а меня, мое лицо, мои руки. Так продолжалось несколько дней, пока мы с близнецами лежали по землянкам, выбираясь лишь, чтобы раздобыть дрова. Новую обходную дорогу для обозов еще не пробили, поэтому мы сосали хлебные корки и меняли припрятанные немецкие консервы на немецкие же, вытащенные у трупов сигареты. Костя все время лежал, отвернувшись к стене, а Полуект бесконечно топил снег и жевал – сначала ледяную кашу, а потом шнурки и ремень.

Я провалился в забытие и пребывал там, пока не пришел Велижев с приказом явиться в штаб. С трудом разгибая ноги, я встал, с ненавистью влез в валенки и поплелся. Около блиндажа курили Круглов, его заместители и разведчик. Я догадался, что предстоит снимать – линия фронта изогнулась, а где-то, может, разорвалась, и надо добыть изменения обстановки на тех участках, которые наш батальон захватил во время контратаки. Но Круглов сообщил иное. «Соловьев, – сказал он без намеков, что помнит наш разговор, – вы единственный топограф на ближайшие полсотни километров. Был еще один, да его убило. Необходимо поработать для нескольких полков. Сначала, конечно, снимите захваченные нами позиции противника. Вас с помощниками будут сопровождать бойцы разведроты. Отчитаетесь опять мне, а потом – на новые участки». Видно было, что он разочарован, но ничего поделать не может. Я пробормотал что-то вроде «разрешите сначала закончить работу, которую начал на текущем месте», но полковник оборвал меня: «Нет, это срочно. Повоюем со старыми картами – разведка их, как может, скорректирует».

Около полудня мы вышли. Плечо и ногу ломило, близнецов бил кашель, все мы с трудом переставляли стертые ноги. Костя во сне так сжал челюсти, что у него откололась часть зуба и впилась в небо. Провожавшие нас разведчики хмурились и честили какого-то Нечипорука, которого просили снять с убитых немцев фонари, а он принес только один, да и тот сигнальный, для регулировщика, где, крутя ручку, можно менять красное стекло на белое и зеленое, что разведке с этой фары? Их голоса жужжали где-то вдаль, а передо мной плыло и покачивалось при каждом шаге лицо того немца с дороги. Ближе к позициям мышцы разогрелись, я машинально настраивал мензулу, снимал небольшое поле среди леса – не дор, а, похоже, старые вырубки, – чертил на плане затупившимся карандашом, который в спешке забыл поточить. Разведчики следили за опушкой. Мимо прошел отряд из их роты, они тоже не теряли времени и, пока была передышка, обследовали окрестности новой передовой. Спустя четверть часа, кажется, именно этот отряд напоролся на пехоту. Началась пальба, сначала перестрелка, затем проснулся миномет, и вскоре это напоминало бой, который мы слышали на заросшем озере. На меня напал ужас, похожий на тот, что пригвоздил к креслу во время шутейного суда. Выстрелы отдавали в виски нестерпимой болью, и уже не соблюдая никакой субординации, я крикнул близнецов. Они всё поняли и заспешили укладывать рейки и штатив. Бой развивался стремительно, разведрота объединилась, заняла оборону и вызвала огонь, немцы ответили. Слева и справа загрохотали взрывы, начался стрекот пулеметов, и в конце концов их основные силы пехоты решились на атаку. Возможно, они пользовались случаем и хотели вернуть потерянные позиции, а может, решили, что их собираются отшвырнуть еще дальше, и контратаковали, но так или иначе, помчавшись по лыжне обратно, мы оказались в положении мишеней на стрельбище. По обеим сторонам из перелесков уже гремели и приближались выстрелы. Мы катили как безумные и быстро выдохлись, и потому, отчаявшись обогнать бой, нашли овражек и упали туда. Сняли ящики, мешки, лыжи, отдышались. А когда захотели выбраться, вблизи начала рваться земля, вскидывая снежные фонтаны и толкая в грудь воздушной волной. «Минометы», – провыл Костя. Недалеко от края овражка рвануло и сбило всех с ног белым потоком, и тогда мы, не сговариваясь, за несколько секунд забросали снегом ящики и выкарабкались, к сожалению, в разные стороны.

Через сто метров я попал примерно на линию огня, но все-таки чуть ближе к своим. Выражение «свист пули» воплотилось наяву, только пули не свистели, а взвизгивали. Мне замахали рукой, и я пополз между редкими деревьями в сторону машущего. Тут же его накрыли миной. Я вновь оглох, но все-таки уловил крики на родном языке – от тех, уходивших с позиции. Поспешив доковылять до края леса, я свалился в густой ельник, где скрывался тот, кто меня звал. А потом я увидел его прямо рядом с собой.

Части лица этого человека двигались отдельно друг от друга, бровь и щека дергались вниз, рот прыгал, словно умирающий причитал, левый глаз выпал и покачивался на скользкой мышце, а правый уставился на меня как дуло. Он поднял уцелевшую руку и занес надо лбом, чуть выше виска, и еще раз, и еще, пока я не понял и не вытащил без раздумий наган и не приставил к его затылку. Что-то меня заставило вдруг отдернуть руку, и наган чуть не вылетел из замерзшей кисти. Мне стало до слез жаль его: а вдруг он сможет жить, пусть и одноглазый, вдруг живот зашьют, – и я не хотел быть убийцей. Рядом застучала очередь, и я упал рядом с раненым, уже не думая об убийстве, а бешено перебирая варианты, что делать, если сейчас подойдут, прикидываться трупом, и если пронесет, то как выбираться и куда. Опять застучал автомат, правда, в стороне. Бой уходил дальше от перелеска, но я еще долго лежал, боясь вздохнуть. Наконец я взглянул на раненого. Он не дышал.

Я встал и, шатаясь, сделал несколько шагов, не сразу заметив не привыкшими к ночи глазами несколько тел, и своих, и чужих. Над ветвями висели холодные яркие звезды. Вернувшись к телу, я сел рядом на корточки и рассмотрел разможенную голову, застывшую кровь, переплетения вывалившейся утробы, черные грубые руки, похожие на корни пальцы. Внутри меня все замерло, заморозилось, и я ощутил легкость и поднялся, зашагал, проваливаясь и не обращая внимания на хаос, по подсеченной неподалеку лыжне домой. Я думал, что меня пристрелят очень быстро, но, видимо, согбенное существо, бредущее, спотыкаясь, и не смотрящее по сторонам, оставляло впечатление безнадежно раненного – иначе я не могу объяснить, почему остался жив. Мимо меня даже проносились, пригнувшись и меняя позиции, пулеметчик с расчетом и, кажется, кто-то со снайперской винтовкой, свой ли, немец, я смотрел перед собой и не реагировал на тукающие выстрелы. Однако я ошибался, думая, что выпотрошил все чувства и теперь смогу вынести что угодно.

На одной из полян, когда огонь со всех сторон прекратился, я понял, что набрел на проселок, хотя и засыпанный снегом, оказавшимся по бедра. Свернув на него, я заковылял; вскоре за спиной раздались храп, топот, барахтанье, и на краю поляны возник тыловой воз на полозьях, на который залезло несколько легкораненых. «Живой? – крикнул возница. – Полезай скорее». Я взгромоздился, неловко задев раненного в руку. В ответ он двинул меня здоровым локтем. Над головой понеслись сахарные ветви. Ехавшие сидели, плотно прижавшись друг к другу, оружия не было почти ни у кого. Рядом со мной покачивался тот немец, став как бы моим проводником: ты думаешь, что умер я, а на самом деле вопрос, кто из нас на каком свете, и этот снег, хвоя и шершавые веточки, втоптаные в него, колосья сухих трав, торчащие из наста, да и сам лес – не пограничье ли это между миром живых и мертвых, но ты иди, иди, я буду с тобой, я тебя не брошу.

Выскочив на широкий дор, а затем еще на одну поляну, возница сначала притормозил, а потом резко дал вперед. Я свесился, насколько мог, и увидел впереди барахтавшиеся по пояс в снегу фигуры в хищных касках. Тут же прогремели выстрелы, я спрятался и выглянул опять – фигуры бросили оружие и пытались уйти с нашей траектории, спотыкались, вязли, а возница гнал, все ближе, ближе, и послышался крик, сначала просто страшный, а потом короткий, такой, что не забывается. Лошади подмяли человека, и я увидел на мгновение между постромками искаженное лицо уже задавленного, но еще живого – а потом он скользнул под полозья со сводящим с ума звуком разрезаемой плоти. Я откинулся, как будто железо разрезало меня, и завизжал. Второй беглец все понял и попытался отпрыгнуть, но снег той зимой был глубок,

и все повторилось: глухие удары лошадиных копыт и неизрекаемый в своем ужасе звук, от которого хотелось выкричать все внутренности.

Никто не обернулся, и поезд мчался дальше. Добравшись до землянки, я свернулся, как собака, у остывшей печки и заснул, не скидывая шинели. Бои продолжались несколько дней. Близнецы, проплутав всю ночь, явились обратно под утро, и мы даже обнялись как друзья. Они рвались искать и откапывать брошенные инструменты, но я запретил. Нас словно забыли, потому что властвовала неразбериха. Я лежал, отчаявшись если не стереть, то попробовать закрыть хоть чем-нибудь дыру в голове, зиявшую и кровоточившую после увиденного.

Шатры лазарета переполнились, и резервисты клали раненых в блиндажи. Проселок до Поддоря теперь простреливался, эвакуация раненых была затруднена. Везде, где оперировали, ампутировали и перевязывали, стояла вонь. Позиции удавалось держать, но ценой новых и новых тел, которые ползли как по конвейеру. Очнувшись и встав, я чувствовал себя так, будто меня окунули в яму с дерьмом и держали там, пока я не начал задыхаться. Потом я смог заставить себя выйти на свет и там обнаружил, что мир задеревенел. Я ходил и выполнял действия как сломанный, заторможенный механизм. Когда с передовой приехал целый караван подвод, нас позвали их разгружать, и теперь вереница увечных с культями на месте оторванных ног, умирающих и верещащих «убей» и «укол», проплывала перед нами как нескончаемый поезд. Нам с Полуектом достался обморочный, бледный лет пятидесяти, которого мы положили на указанное медбратом место. Полуект осмотрелся и задержал взгляд на углу шатра. Я пробрался к выходу через тазы с бордовыми тампонами и бинтами, раздвинул ветви елочной маскировки и увидел переплетенные, смерзшиеся руки и ноги, сползшие рты, гримасы убитых, сложенных как суковатые бревна в поленницу. Розовощекий, младше меня лейтенант улыбался, глядя на заиндеветший окровавленный нос соседа. Я рассматривал его с такой же любовью, а потом поленница расползлась, шатер, деревья, небо, все окунулось в лунную ночь и поперек лица мелькнул возница, свистнули полозья, и я услышал тот режущий звук и скорчился, обхватив голову руками. Полуект выбежал и схватил меня за рукав, но поднять не смог, пока видение не исчезло.

С передовой доносился гром, лагерь готовили к эвакуации. Хаос продолжался несколько дней, и в этой круговерти мы продолжали жевать корки и уже не обращали внимания на тупой голод, высасывающий внутренности, и на полчища вшей. Единственным, что нас волновало и чего мы искали, было тепло. Мы часами шатались туда-сюда в поисках дров – интенданты не давали пилы, а сами обеспечивать весь полк не успевали. И едва мы уверились, что это не кончится никогда, как кончилось все.

Немцы встали и, судя по тому, что доносила разведка, начали окапываться, рассчитывая на долгую паузу. Или, может быть, изображая ее. Так или иначе это означало передышку. Еще несколько дней мы просыпались, ожидая звуков боя, но их все не было и не было. Инструменты нашлись там, где мы их оставили. По лагерю бродили тени штабных, остальные лежали в своих подземных жилищах, отсыпались, составляли списки выбывших и раненых, писали письма вдовам и переформировывали роты. Круглов ждал подкрепления, оружия и еды, но поскольку еще больше дороги оказалось за линией черных, то обозы пришлось бросить среди леса и перетаскивать, что можно, ночами силами лыжников. Спустя неделю они вытоптали такую тропу, что по ней два человека, впрягшись, могли тащить минометы и сопровождать лошадей, вязнувших в снегу. Из-за неразберихи топографическую бригаду решили держать при полку, и на одной из таких подвод нас отправили с ротой снимать урочище под названием Рог, очертаниями действительно напоминавшее толстый рог с завитком – рядом с тем Рдейским болотом, которое упоминал разведчик.

Завернувшись в непросохший ватник, я колыхался на подводе, которую перла пара лошадей сквозь ледяную кашу. Интенданты запрягли с битюгом орловскую, крепкую, не похожую на тонконогих выгибающих шеи с отцовских фотокарточек, но все равно беспомощную на

переходах по брюхо в шуге. Спустя километр непролазной тропы пришлось слезть и вытаскивать, отчего одежда вымокла окончательно. Рота ушла вперед, изредка присылая кого-то на подмогу. У них убило полсостава, включая политрука, а командир лежал в лазарете с осколком под левым ребром и старался не шевелиться, чтобы свинец не коснулся сердца. Командовать поручили старшине по фамилии Еремин, лет сорока от роду, но безусому как подросток. Присланная им смена велела нам оставить инструмент, и добираться вперед подводы, и греться у костра. Мы отряхнулись, выжали рукавицы и поковыляли.

К вечеру мы добрались до позиций. За соснами белело пятно болота, огромное, берега даже не угадывалось. Пришедшие задолго до нас развели костер и, замерзнув, сидели вокруг так плотно, что пахло паленым, у некоторых на спинах маскхалатов зияли прожженные дыры. Согревшись обустроивали ночлег и ставили палатку для кухни. Через час добралась и наша подвода, застряв метрах в тридцати от костра. Орловскую выпрягли. Она упала и лежала, держа и вперившись влажным, похожим на человеческий глазом в замкомандира Резуна, бессмысленно оравшего на нее. Еремин и некоторые неохотно встали и пошли к подводе. Они что-то забухтели, и вскоре бухтение переросло в спор. Рота разделилась: одни жаловались, что не видели мяса третью неделю, а другие стояли за то, что лошадь «кормилица, на чем обратно поволочемся». Громче других высказывался Еремин, настаивая, что лошадь издохнет и никто ее не хватится, поэтому надо, пока еще свет, пристрелить, разделать и поужинать ею. Уходить от костра не хотелось, и я прикрыл глаза, вполуха слушая спорщиков. «А если весна? На чем минометы поволокем?» – «Да какая весна, фронт весной вообще встанет с такой-то распутицей. Бросили нас к херам! Живи тут как хочешь!» – «Верно говорит, вспомнят про нас теперь к лету, а немец не полезет сюда. Зачем ему этот гнилой угол». – «Как по радио передают, забыл? Бои местного значения! Сдохнешь тут, и не найдут среди болот». – «Как политрука убили, так смелый стал, заговорил!» – «Она просто уставшая». – «Какая уставшая, у нее пена идет!» – «Может, она больная». – «Один хуй помрем».

Слова рассыпались на междометия, и взвод едва не передрался, но все-таки Еремин был командиром, и покоровшись ему, они стали обсуждать, как пристрелить за раз, чтобы не тратить лишние патроны. Наконец кто-то сходил к костру за винтовкой и вернулся. Еремин взял винтовку и подошел к лошади. Сначала ему пришлось отпрыгнуть, потому что она попыталась встать, провалилась сквозь наст, попробовала еще раз и тонко заржала. Затем положила голову на снег и стала смотреть на меня так, будто знала обо мне всё. Еремин подкрался к лошади, долго целился, выстрелил в черный глаз и промахнулся, угодив пулей в височную кость. Лошадь вскинулась и упала набок, забившись, все пытаясь подняться на передние ноги. Еремин прицелился и выстрелил еще, но орловская захрипела и метнулась, и пуля попала в лоб. Стрелок подобрался ближе, посмотрел на жертву, распаляясь руганью, и вновь поднял винтовку. Опять не попал в глаз, и начал стрелять вновь и вновь, уже не целясь, и орал.

Показалось, что у него сдали нервы, но, присмотревшись, я увидел, что безусое его лицо перекопилось не от отвращения и ярости, а еще от чего-то. Лошадь агонизировала. «Хорош!» – крикнул Резун между выстрелами. Еремин обернулся, и я увидел, что ткань его брюк около бедер взбугрилась и была натянута. «Вот мудак, – неловко сказал кто-то, – даже пристрелить не может». Остальные отвернулись. «Скотоебина», – сплюнул Костя. Агония продолжалась несколько минут, после чего к туше приблизились, осторожно взяли за копыта и гриву и потащили к кухне разделывать штыками. Когда лошадь варили, мясо источало почти такой же запах, как плоть в санчасти. Все сидели с лицами мучеников. Еремин куда-то делся, а потом пришел к кухне. По мискам разложили куски мяса, схожего с резиной, и оно оказалось терпким, с привкусом сладкой полевой травы. Правда, оно было еще и жестким, и все, кто неделями недоедал, набросились на него и глотали, не разжевав, а потом свирепо мучились животом, матерились и испражнялись под березами, сплевывая набегавшую под язык водянистую слюну.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.